

Несвоевременные размышления

Часть третья.

Шопенгауэр как воспитатель

пер. В.Бакусева

Ницше, Фридрих. Полное собрание сочинений: В 13 томах / Ин-т философии. – М.: Культурная революция, 2005 – Т. 1/2: Несвоевременные размышления. Из наследия 1872 – 1873 гг. / Пер. с нем. В. Бакусева, В. Невежиной, И. Эбаноидзе и др.; общ. ред. И.А. Эбаноидзе. – 2013. – 480 с. - С.173-258

Тот путешественник, который, посетив множество стран и народов и несколько континентов и быв спрошен о том, какое человеческое качество он находил решительно повсюду, отвечал: все они там были склонны к лени. Многим покажется, что более правильно и законно было бы сказать: все они трусливы. Они прячутся за обычаями и мнениями. В сущности, каждый человек знает, что живет на свете лишь раз, что он уникален и что никакая, даже самая редкая случайность, не заставит столь причудливо-пестрое разнообразие скомбинироваться второй раз в ту единственность, каковой он является: он знает об этом, но скрывает, как нечистую совесть, – а почему? Из страха перед ближним, который требует выполнять условное соглашение и им же прикрывается сам. Но что же такое вынуждает отдельного человека бояться ближнего, мыслить и действовать стадно и не испытывать счастья от самого себя? Может быть, у некоторых немногих это застенчивость. У большинства же это любовь к покою, косность, короче говоря, та склонность к лени, о которой говорил наш путешественник. И он прав: люди больше ленивы, чем трусливы, и боятся по большей части как раз тех трудностей, которые взвалили бы на них безусловная честность и обнаженность. Лишь художники ненавидят это вялое хождение с заемными манерами и надетыми на себя мнениями и разоблачают тайну, нечистую совесть всякого человека, а именно, утверждение о том, что каждый из нас – это уникальное чудо; они отваживаются показать нам человека таким, каков он, вплоть до мельчайших мышечных движений, есть только сам, он один, более того, что, строго выдерживая эту свою уникальность, он прекрасен и значителен, нов и невероятен, как любое произведение природы, и вовсе не скучен. Презирая людей, великие мыслители презирают их за леность: ведь

из-за нее люди представляют собой фабричные продукты, безразличные и недостойные ни общения, ни назидания. Человеку, не желающему принадлежать к массе, достаточно только перестать быть вялым по отношению к себе; он должен слушать свою совесть, призывающую его: «Будь самим собою! Все, что ты сейчас делаешь, думаешь, к чему стремишься, – это не ты сам».

Всякая юная душа слышит такой призыв день и ночь, содрогаясь при этом; ведь, думая о своем истинном освобождении, она смутно чувствует от века заданную ей меру счастья: покуда она скована цепями мнений и страха, ей никак не пробиться к этому счастью. А какой безотрадной и бессмысленной без такого освобождения может стать жизнь! Нет в природе создания более жалкого и гадкого, чем человек, уклонившийся от своего гения и теперь косящийся направо и налево, назад и во все стороны. До такого человека, в конце концов, и дотронуться-то нельзя, ведь он – целиком и полностью внешняя оболочка, лишенная сердцевины, подпорченная, размалеванная, раздутая одежда, разукрашенный призрак, неспособный ни напугать, ни, разумеется, внушить сочувствие. И если о ленивых по праву говорят, что они убивают время, то за те эпохи, которые видят свое благо в публичных мнениях, иными словами, в лености отдельных людей, следует всерьез опасаться, что они будут вычеркнуты из истории подлинного освобождения жизни. С каким отвращением, вероятно, грядущие поколения будут заниматься наследием того периода, когда всем заправляли не живые люди, а лжелюди публичного мнения; по этой-то причине, возможно, и нынешняя эпоха покажется каким-нибудь далеким нашим потомкам самым темным и неизвестным – потому что нечеловеческим – отрезком истории. Я хожу по новым улицам наших городов и думаю, что через какую-нибудь сотню лет от всех этих мерзких домов, построенных для себя поколением людей публичного мнения, ничего не останется и что тогда же, видимо, уйдут в прошлое и мнения самих этих строителей. Но зато какие надежды можно возлагать на всех тех, которые не чувствуют себя гражданами этой эпохи; ведь если бы они ими были, то соучаствовали бы в убийстве своего времени и погибли бы вместе со своей эпохой – а они, на-

против, хотят пробудить эпоху к жизни, чтобы и самим продолжать жить в этой жизни.

Но даже если будущее не оставляет нам надежды – наше странное существование именно сегодня сильнее всего ощущает нас жить по собственным меркам и законам: странность эта заключается в необъяснимости того, что мы живем именно сегодня, хотя у нас было бесконечно много возможностей, чтобы родиться в другое время, и того, что мы располагаем только крошечным сегодня и сегодня же обязаны показать, почему и для чего родились именно сейчас. Мы должны отвечать за свое существование перед собой; так будем же и настоящими кормчими этого существования и не допустим, чтобы наше бытие уподобилось бездумной случайности. С ним надо обходиться не без дерзости и отваги: тем более что и в худшем, и в лучшем случае мы все равно его потеряем. Зачем держаться за этот клочок земли, за это ремесло, зачем прислушиваться к тому, что говорит наш сосед? Какое провинциальное мещанство – обязывать себя к воззрениям, которые на расстоянии пары сотен миль уже ни к чему не обязывают. Восток и запад – меловые линии, которые кто-нибудь проводит у нас на глазах, чтобы одурачить нашу трусость. Хочу попытаться найти путь к свободе, говорит себе юная душа; но тут перед нею возникают препятствия – скажем, два народа случайно возненавидели друг друга и воюют, или море разделяет два континента, или вокруг насаждают какую-то религию, хотя той не существует уже две тысячи лет. Все это – не ты сама, говорит она себе. Никто не может построить для тебя мост, по которому именно ты пройдешь через реку жизни, – никто, кроме тебя самого. Правда, есть бесчисленное множество дорог, мостов и героев, желающих пронести тебя через эту реку, – но в качестве платы они требуют тебя самого; тут тебе пришлось бы отдать себя в залог и потерять. На всем белом свете есть один-единственный путь, по которому не сможет пройти никто, кроме тебя: и куда же он ведет? А ты не спрашивай, ты по нему иди. Кто это сказал: «Человек поднимается выше всего, если не знает, куда заведет его дорога»?

Так как же нам найти самих себя? Как человек может познать себя? Человек – дело темное, прикровенное; и ес-

ли у зайца семь шкур, то человек снимет с себя семь раз по семьдесят оболочек и все-таки не сможет сказать себе: «Вот теперь это и впрямь я, теперь это не оболочка». Да и вообще почин это мучительный и опасный – на такой вот лад копаться в себе и решительно спускаться в шахту собственного своего существа по ближайшему пути. Тут с легкостью можно ранить себя так, что ни один врач уже не поможет. Ну и, помимо всего прочего: зачем все это нужно, если об этом нашем существе и так говорит все – наша дружба и вражда, наш взгляд и рукопожатие, наша память и то, о чем мы забываем, наши книги и наш почерк. Но чтобы учинить важнейший допрос, есть вот какой способ. Пусть юная душа оглянется на уже прожитую жизнь, спрашивая себя: что доселе ты любил на самом деле, к чему влекло твою душу, что ею владело и в то же время дарило ей отраду? Поставь перед собой ряд этих высокочтимых предметов и, возможно, их суть и их последовательность покажут тебе закон, основной закон твоего подлинного «я». Сравни эти предметы между собой, погляди, как один из них дополняет, расширяет, превосходит, просветляет другой, как они образуют лестницу, по которой ты взбирался до сих пор к самому себе; ведь подлинная твоя сущность отнюдь не сокрыта в тебе где-то глубоко внизу, нет, она находится неизмеримо высоко над тобою или по крайней мере над тем, что ты обычно воспринимаешь как свое «я». Те, кто воспитал и образовал тебя на самом деле, раскроют тебе, в чем заключаются подлинный изначальный смысл и субстанция твоего существа: это нечто такое, что никак невозможно воспитать и образовать, но в любом случае – это нечто с трудом достижимое, связанное, парализованное; твои воспитатели не могут быть ничем иным, кроме как твоими освободителями. В том-то и состоит тайна всякого образования: оно не составляет искусственных органов, восковых носов, не надевает на глаза очки – напротив, то, что может предоставить эти дары, есть лишь ложный способ воспитания. Нет, образование есть освобождение, очищение от всех сорняков, хлама, вредных насекомых, посягающих на нежные зародыши растений, оно – изливание света и тепла, отрадный шорох ниспадающего по ночам дождя, подражание природе и поклонение ей, когда она настроена по-матерински,

милосердно, оно – высшая ступень природы, когда та претворяет свои припадки жестокости и немилосердия, обращая их во благо, когда прикрывает покрывалом проявления своей безжалостности и своего прискорбного безрассудства.

Разумеется, есть, наверное, и другие способы найти себя, прийти в себя из обморока, в котором человек обычно ходит, словно окутанный темным облаком, но я не знаю лучшего, чем обращение памятью к своим воспитателям и образователям. Вот я и хочу сегодня вспомнить об одном из учителей и воспитателей, которому обязан отдать дань хвалы, об *Артуре Шопенгауэре*, – чтобы потом вспомнить и о других.

2

Желая описать, каким событием для меня стал первый взгляд, брошенный на страницы сочинений Шопенгауэра, я должен упомянуть об одном представлении, в юности овладевавшем мной так часто и сильно, как никакое другое. Раньше, не зная никакой меры в желаниях, я думал, что судьба избавила меня от ужасных хлопот и обязанности воспитывать себя самому: избавила благодаря тому, что когда-нибудь я вовремя найду себе в качестве воспитателя философа, настоящего философа, которого можно слушаться без всяких раздумий, поскольку доверять ему можно было бы больше, чем самому себе. Потом я серьезно задался вопросом: каковы же должны быть принципы, по которым он будет меня воспитывать? Я стал размышлять о том, как он оценил бы две максимы педагогики, бывшие в ходу в наше время. Первая требует, чтобы воспитатель быстро распознал характерные сильные стороны своего воспитанника, а затем именно к ним направлял все силы и соки, все светлое в нем, чтобы довести их хорошие качества до полной зрелости и производительности. Вторая же максима предполагает, что воспитатель возвращает все наличные способности подопечного, ухаживает за ними и приводит их к взаимной гармонии. Но нужно ли насильно принуждать к музыке того, у кого есть явная склонность к ювелирному искусству? Следует ли признать, что прав был отец Бенвенуто Челлини,

который не устал навязывать своему сыну «нежнейший корнет», то есть то самое, что сын называл «проклятым дуденьем»? У таких сильных и ярко выраженных дарований этого со всей точностью не определить; а потому, возможно, даже максимум гармоничного развития необходимо применять лишь в случае более слабых натур – ведь в них, правда, гнездится великое множество потребностей и склонностей, но эти последние, взятые все вместе и по отдельности, значат не слишком-то много. Но где нам вообще найти гармоничную цельность и полифоническую слаженность в одной натуре, где мы дивимся гармонии больше, чем именно в таких людях, каким был и Челлини, в которых все – познание, желание, любовь, ненависть – устремлено к единой центральной точке, к единой коренной способности, и где как раз благодаря принуждающей и господствующей верховной власти этого животворящего центра из движений туда и сюда, вверх и вниз образуется гармоничная система? Так, значит, вероятно, обе максимы – вовсе не противоположности? Возможно, одна говорит только, что человек должен обладать центром, а другая – что еще и периферией? Тот философ-воспитатель, о котором мне грезилось, наверное, не только раскрыл бы центральную способность, но и сумел бы уберечь все другие способности от разрушения с ее стороны: а задачей воспитания для него, как мне казалось, было бы, скорее, преобразование всего человека в живую движущуюся солнечную и планетную систему и познание закона ее высшей механики.

Меж тем я такого философа не находил и пробовал то одного, то другого; я обнаружил, насколько мы, современные люди, жалки в сравнении с греками и римлянами уже хотя бы только в смысле серьезного и строгого понимания задач воспитания. Имея такую душевную потребность, можно обежать кругом всю Германию, в особенности все университеты, и не найти того, что ищешь; да и желания куда более низменные и простые останутся тут неутоленными. Если, скажем, кто-то всерьез решил стать оратором всенемецкого масштаба или вознамерился получить писательскую подготовку, то ему нигде не найти таких учителей и такой подготовки; кажется, здесь еще никто не задумывался о том, что говорить и писать – это виды искусства,

которыми невозможно овладеть без самого внимательного руководства и труднейших лет обучения. Но ничто не демонстрирует самоуверенной удовлетворенности современников собою более убедительно и постыдно, нежели наполовину скупая, наполовину бездумная убогость их требований к воспитателям и учителям. Чем тут только не удовлетворяются под именем домашнего учителя даже наши самые отборные и осведомленные люди, какое только собрание сумасбродных голов и устаревших методов частенько не называют гимназией и находят ее хорошей, чем мы все и довольствуемся в качестве высшего образовательного заведения, в качестве университета, и что это за лидеры, что за учреждения, – если сопоставить все это со сложностью задачи воспитать в человеке человека! Даже столь достохвальная манера, с какой немецкие ученые набрасываются на свою науку, показывает прежде всего, что при этом они думают больше о науке, чем о человечности, что они, словно толпа смертников, обучаются приносить себя ей в жертву, чтобы привлечь к такому жертвоприношению все новые поколения. Общение с наукой, если оно не руководится и не ограничивается никакой высшей педагогической максимой, а только все больше раскрепощается согласно принципу «чем больше, тем лучше», конечно, так же вредно для ученых, как экономическое положение о *laisser faire*¹ – для нравственности целых наций. Кто еще понимает, что воспитание ученого, человеческая сторона которого не должна быть утрачена или засушена, – это в высшей степени трудная проблема? Однако такую трудность можно увидеть собственными глазами, если обратить внимание на многочисленные экземпляры, искривленные и отмеченные горбом из-за бездумной и чересчур ранней увлеченности наукой. Но есть и еще более важное свидетельство отсутствия всякой высшей педагогики – оно и более важное, и более угрожающее, но прежде всего куда более общераспространенное. Если совершенно очевидно, почему сегодня невозможно воспитать оратора или писателя, – просто потому, что для них нет никаких воспитателей, – если почти столь же очевидно, почему ученый в наши дни обречен на искажения

1 в свободе действий (*фр.*).

в характере и сумасбродство – потому что его вынуждена воспитывать наука, то есть нечто нечеловечески абстрактное, – то надо, наконец, спросить его: где, собственно, среди наших современников нравственные образцы и видные люди для всех нас, для ученых и неученых, благородных и простонародных, где для нашей эпохи зримое высшее воплощение всей творческой морали? Куда, собственно, девалось всякое размышление о вопросах нравственности, которыми, беседуя, во все эпохи всякий раз занимались те люди, что поблагороднее? Нет больше видных людей и размышлений такого рода; фактически мы проедаем наследственный капитал нравственности, который скопили наши предки и который мы умеем только транжирить, а не приумножать; в нашем обществе либо вообще не говорят о подобных вещах, либо говорят с грубой неотесанностью и неосведомленностью, неизбежно вызывающими только отвращение. Вот и выходит, что наши школы и учителя попросту отказываются от нравственного воспитания или отделяются формальностями: а «добродетель» – слово, при котором учителю и ученикам в голову ничего уже не приходит, слово старомодное, вызывающее только улыбку, – и плохо, если оно улыбки не вызывает, потому что тогда это будет уже лицемерием.

Объяснение этой апатии и пониженного приливного уровня всех нравственных сил трудно и запутанно; но всякий, кто учтет влияние победившего христианства на нравственность наших прежних эпох, не ошибется и относительно обратного воздействия на нее со стороны христианства побежденного, то есть его все более вероятного жребия в наше время. Высотой своего идеала христианство настолько превзошло античные системы морали и одинаково господствующую во всех них естественность, что эта естественность стала вызывать равнодушие и отвращение; но затем, когда знание о лучшем и высшем еще сохранилось, но сил на них уже не было, не стало и возможности возвращения к хорошему и высокому, то есть к названной античной добродетели, как бы сильно к такому возвращению ни стремились. В таких вот метаниях между христианским и античным, между запуганной или лживой христианскостью нравов и равным образом малодушным и смущенным антикизировани-

ем и живет современный человек, чувствуя себя при этом плохо; унаследованный страх перед естественным и, с другой стороны, обновленная притягательность этой естественности, страстное желание найти в чем-нибудь опору, обморочное бессилие познания, колеблющегося между хорошим и лучшим, – все это порождает в современной душе тревожное состояние, смятение, что и обрекает эту душу на бесплодие и безотрадное существование. Никогда еще не бывало большей нужды в нравственных воспитателях и никогда не бывало меньшей вероятности их найти; во времена, когда врачи нужнее всего – при больших эпидемиях, – им грозит и наибольшая опасность. Ведь где они все – врачи современного человечества, которые сами стоят на ногах с такой уверенностью и с таким здоровьем, что могли бы поддерживать и вести за руку кого-то другого? Есть на лучших личностях нашей эпохи какой-то налет помраченности и тусклости, какая-то вечная раздраженность по поводу борьбы между лицемерием и честностью, которая идет в их душе, какой-то разлад в доверии к себе – и в результате они становятся совершенно неспособными быть указателями пути и одновременно воспитателями для других.

Таким образом, это и впрямь значит «не знать никакой меры в желаниях» – мое представление о том, что я должен найти в качестве своего воспитателя истинного философа, который смог бы возвысить человека над ущербностью, насколько она присуща эпохе, и снова научил бы его быть *простым и честным*, в мышлении и в жизни, иначе говоря, несвоевременным, если понимать это слово в его глубочайшем смысле; ведь люди теперь сделались столь многослойными и многосложными, что должны стать нечестными, если вообще хотят говорить, выдвигать утверждения и действовать в соответствии с ними.

Испытывая такого рода нужды, потребности и желания, я ознакомился с Шопенгауэром.

Я отношу себя к таким читателям Шопенгауэра, которые, прочитав первую страницу, совершенно точно знают, что прочтут все остальные и выслушают каждое слово, сказанное им вообще. Я тотчас проникся к нему доверием – оно и теперь совершенно такое же, как девять лет тому назад. Я понимал его так, словно он писал для меня: выража-

юсь понятно, но нескромно и глуповато. Поэтому вышло так, что я никогда не находил в нем парадоксальности, хотя там и сям находил мелкие ошибки; ведь что иное парадоксы, если не утверждения, не внушающие доверия потому, что сам автор выдвинул их без подлинного доверия, потому, что он желал ими блеснуть, соблазнить и вообще создать видимость. Шопенгауэр никогда не ищет видимости: ведь пишет-то он для себя, а никто не хочет сам, чтобы его обманывали, и меньше всех – философ, который возводит для себя в закон положение: никого не обманывай, в том числе себя самого. Даже тем приятным коллективным обманом, который несет в себе чуть ли не каждая беседа и которому почти бессознательно подражают писатели; а еще того менее – сознательным обманом, совершаемым с трибун искусственными средствами риторики. Нет, Шопенгауэр говорит сам с собою: или, если очень уж хочется представить себе, что у него есть слушатель, то можно представить себе сына, которого наставляет отец. Это – добросовестное, бесхитростное, прямодушное высказывание перед слушателем, который слушает с любовью. Подобных ему писателей у нас нет. Полное сил хорошее самочувствие говорящего охватывает нас при первом же звуке его голоса; на душе у нас так, словно мы входим в высокоствольный лес, мы дышим полной грудью и вдруг снова чувствуем себя хорошо. Здесь всегда один и тот же живительный воздух, говорит нам чувство; здесь некая неподражательная непринужденность и естественность, какая бывает у людей, распоряжающихся в себе как дома, и дом этот очень богат, – в противоположность писателям, которые, уж если проявили остроумие, больше всего дивятся самим себе, а потому в их голосе появляется что-то беспокойное и противоестественное. Столь же мало, когда говорит Шопенгауэр, мы будем думать об ученом с негибкими и неловкими от природы конечностями, узкогрудом – и потому идущем нам навстречу неуклюже, смущенно или, наоборот, чванливо; напротив, душа Шопенгауэра, суровая и немного грубая, учит не столько жалеть об отсутствии гибкости и придворной грации хороших французских писателей, сколько пренебрегать ими, и никто не найдет в нем поддельного, словно посеребренного, мнимого галлицизма, которым так кичатся немецкие писатели.

Манера Шопенгауэра там и сям немного напоминает мне Гёте, а в остальном ни в чем не похожа на немецкий пошиб. Ведь он знает толк в том, как говорить просто о глубоком, без риторики – о волнующем, без педантизма – о строго научном: а у какого же немца он мог бы этому научиться? Он держится независимо даже от изощренной, чрезмерно оживленной и – с позволения сказать – довольно ненемецкой манеры Лессинга: а это большая заслуга, потому что среди немцев Лессинг в смысле прозаической формы – автор самый обольстительный. И чтобы уж сразу сказать лучшее, что я могу сказать о прозе Шопенгауэра, – отнесу к нему его собственное положение: «Философ обязан быть честным, дабы не пользоваться никакими поэтическими или риторическими вспомогательными средствами». Что честность имеет какой-то смысл, а тем более смысл добродетели, в век публичных мнений относится, разумеется, к частным мнениям, а они у нас под запретом; и если я повторяю: он честен, в том числе как писатель, то тем самым не восхваляю Шопенгауэра, а всего лишь даю ему характеристику; подобных писателей так мало, что, по сути, приходится проявлять недоверие ко всем людям, которые пишут. Мне известен только один писатель, которого в смысле честности я ставлю на одну доску с Шопенгауэром и даже еще выше: это Монтень. Удовольствие от жизни на этой земле поистине умножилось оттого, что писал такой человек, как он. Для меня, по крайней мере, с тех пор как я познакомился с этой самой свободной и сильной душой, дела обстоят так, что мне приходится согласиться с его собственным утверждением о Плутархе: «Стоит только мне на него посмотреть, как у меня вырастает нога или крыло». Рядом с ним я не оплошал бы, если бы встала задача освоиться здесь, на земле.

Шопенгауэр делит с Монтенем еще одно, второе, наряду с честностью, качество: подлинную согревающую душу веселость. *Aliis laetus, sibi sapiens*¹. Есть два совершенно различных вида веселости. Подлинный мыслитель всегда согревает душу и дает отраду, выражает ли он свою серьезность или шутливость, человеческий взгляд в глубины или

1 Весел для других, мудр для себя (*лат.*).

божественный взгляд сквозь пальцы; он делает это без брюзжания, без дрожащих рук, бегающих глаз, а прямо и просто, с мужеством и силой, может быть, несколько по-рыцарски и жестко, но во всяком случае – как победитель: как раз это и дает отраду – видеть бога-победителя рядом со всеми поверженными им чудищами. Веселость же, порой охватывающая посредственных писателей и заигрывающих с читателем мыслителей, вызывает у нашего брата при чтении тошноту – к примеру, такой для меня была веселость Давида Штрауса. Прямо-таки стыдно иметь таких веселых современников – ведь они компрометируют нашу эпоху и нас, ее людей, перед потомками. Подобные весельчаки совсем не замечают страданий и всего ужасающего – того, что им как писателям полагается замечать и атаковать; потому-то их веселость вызывает только оскомину, поскольку лжет, внушая веру в то, что победа уже одержана. В сущности, веселость есть лишь там, где есть победа; это относится к произведениям подлинных мыслителей, так же как и ко всякому произведению искусства. Содержание может быть сколь угодно страшным и серьезным, как проблема существования вообще, – но воздействовать подавляюще и удручающе произведение будет, только если полумыслитель и полухудожник осенили его своей ущербностью; а на долю человека не может выпасть ничего более отрадного и превосходного, чем приблизиться к одному из тех триумфаторов, которые, глубоко мысля, должны любить как раз все полное жизни и, будучи мудрыми, в итоге склоняются к красоте. Они говорят по-настоящему, они не бормочут, но и не повторяют бессмысленно за другими; они движутся и живут на самом деле, а не на столь жутко маскарадный лад, на какой обыкновенно живут люди: поэтому поблизости от них у нас на душе действительно становится человечно и естественно, и нам хотелось бы воскликнуть, подобно Гёте: «Какая же это великолепная, драгоценная штука – нечто живое! Насколько же точно оно соответствует своему состоянию, насколько оно подлинно, наделено бытием!»

Я описываю здесь не более чем первое, словно бы физиологическое впечатление, которое произвел на меня Шопенгауэр, – то подобное колдовству излучение глубинной силы одного создания природы на другое, которое проис-

ходит при первом и самом тихом соприкосновении; и, задним числом разбирая это впечатление, я обнаруживаю, что оно сложено из трех элементов – впечатления его честности, его веселости и его постоянства. Он честен, потому что говорит и пишет себе и для себя, весел, потому что одолел мыслью самое трудное, и постоянен, потому что таким он и должен быть. Его сила, словно пламя в безветренную погоду, вздымается прямо и легко, не сбиваясь в сторону, без дрожи и метаний. В каждом случае он находит свой путь, а мы даже и не замечаем, что он его искал; он мчится к цели, словно подгоняемый законом тяготения, точно, проворно и неуклонно. И кто хоть однажды ощутил, что значит найти вдруг посреди нашего современного эклектичного человечества цельное, унисонное, самобытное и подвижное, непринужденное и вольное создание природы, тот поймет мое счастье и изумление в тот миг, когда я нашел Шопенгауэра: я предчувствовал, что найду в нем того воспитателя и философа, которого так давно искал. Правда, только в виде книги: и это был большой недостаток. Тем сильнее я старался разглядеть сквозь книгу и представить себе живого человека, великое завещание которого мне следовало прочесть и который допускал в число своих наследников лишь тех, кто хотел и мог быть чем-то большим, нежели только его читателем: а именно, своих сынов и воспитанников.

3

Я ценю философа ровно настолько, насколько он в состоянии быть примером. Нет никаких сомнений в том, что он может увлечь за собою примером целые народы; это доказывает история Индии, которая почти целиком есть история индийской философии. Но такой пример должен даваться через зримую жизнь, а не просто через книги, иными словами, таким образом, каким учили философы Греции, – больше выражением лица, повадкой, одеждой, питанием, привычками, нежели речами, а то и вовсе текстами. Как не хватает нам в Германии этой отважной зримости философской жизни; очень медленно освобождаются здесь тела, хотя умы, кажется, давно уж освободились; а что ум свободен

и самостоятелен, если неограниченность, которой он добился, а это, в сущности, творческое самоограничение, не доказывается всякий раз заново каждым взглядом, каждым шагом, с утра и до вечера, – всего лишь иллюзия. Кант держался за университет, подчинялся правительствам, внешне не выходил за пределы религиозной веры, не возражал против нее у коллег и студентов: поэтому естественно, что его пример произвел прежде всего университетских профессоров и профессорскую философию. Шопенгауэр мало церемонится с учеными кастами, отделяет себя от всех, добивается независимости от государства и общества – это и есть его пример, его образец, если исходить здесь только из самых внешних обстоятельств. Но множество степеней освобождения философской жизни среди немцев еще неизвестно, и не всегда им такими оставаться. Наши люди искусства живут отважнее и честнее, и самый сильный пример, который стоит перед нами, пример Рихарда Вагнера, показывает, как гений не боится вступать в самые враждебные противоречия с существующими формами и порядками, если стремится проявить вовне живущие в его душе порядок и истину. А та «истина», о которой так много говорят наши профессора, – существо, которое кажется, конечно, довольно непритязательным, и можно не опасаться, что оно учинит беспорядок или нарушение порядка: это такое приятное и уютное создание, которое снова и снова заверяет существующие власти, что ради нее, истины, никто и пальцем не шевельнет; ведь она – всего лишь «чистая наука». В общем, я хотел сказать, что немецкая философия должна все больше отучаться от того, чтобы быть «чистой наукой»: именно это и будет примером, который дал нам Шопенгауэр как человек.

А что он созрел для этого человеческого примера – чудо, не меньше: ведь и снаружи, и изнутри его как бы теснили со всех сторон чудовищные опасности, которые подавили бы или разбили вдребезги любое более слабое создание. Есть, сдается мне, явные внешние признаки того, что как человек Шопенгауэр должен был бы погибнуть, чтобы после него осталась в лучшем случае «чистая наука»; но и это – лишь лучший случай; вероятнее всего, не осталось бы ни человека, ни науки.

Один англичанин новейших времен таким образом изображает самую общую опасность, угрожающую необычным людям, которые живут в обществе, приверженном ко всему обычному: «Подобные своеобразные характеры вначале становятся надломленными, потом ими овладевает меланхолия, потом они заболевают и наконец умирают. Скажем, Шелли, в принципе, должен был бы погибнуть в Англии, а тип Шелли здесь невозможен». На наших Гельдерлине, Клейсте и им подобных необычность сказывалась пагубно, они не выдерживали климата так называемого немецкого образования; и устоять могли только такие железные натуры, как Бетховен, Гёте, Шопенгауэр и Вагнер. Но и у них во множестве борозд и морщин проявляются последствия утомительной борьбы и судорожных усилий: они начинают тяжело дышать, а их тон становится немного натужным. Тот опытный дипломат, который лишь мимоходом виделся и говорил с Гёте, сказал его друзьям: «Voilà un homme, qui a eu de grands chagrins!»¹, что Гёте перевел так: «Этот своей шкуры не жалел!». «Если с выражения наших лиц, – добавляет он, – не сходят следы перенесенного страдания, проделанной работы, то не удивительно, что все остальное в нас и в наших делах несет на себе те же следы.» И это говорит Гёте, на которого наши мещане от образования указывают как на самого счастливого из немцев, чтобы вывести отсюда такую мысль: все-таки, наверное, можно стать счастливым среди нас, и еще заднюю мысль: никому не простится чувствовать себя среди нас несчастным и одиноким. Потому-то они прямо-таки с великой лютостью выставили и на практике истолковали тезис, гласящий, что во всяком одиночестве всегда скрыта тайная вина. Тогда, конечно, и бедный Шопенгауэр скрывал в своей душе такую вот тайную вину – он ценил свою философию выше, чем своих современников; к тому же он был настолько несчастен, чтобы прямо от Гёте знать: на него возложен долг любой ценой защищать свою философию от невнимания современников, чтобы спасти ее от гибели. Существует ведь своего рода инквизиторская цензура, в которой немцы, согласно суждению Гёте, продвинулись далеко вперед; это – полное молчание.

1 «Этот человек пережил большие невзгоды!» (*фр.*).

Результатом последнего уже стало хотя бы то, что большую часть первого издания его главного труда пришлось сдать на макулатуру. Прозящая опасность того, что его великое дело пропадет втуне просто из-за невнимания, приводила Шопенгауэра в ужасное, с трудом подавляемое беспокойство; не было заметно ни одного порядочного последователя. Печально видеть, как он вынюхивает хоть какие-нибудь следы своей известности; и есть что-то прискорбно-трогательное в его позднем, громком и сверхгромком, ликовании по поводу того, что вот теперь-то его и впрямь читают («lego et legar»¹). Как раз все те черты, которые не обнаруживают в нем достоинства философа, говорят о нем как о страдающем человеке, опасющемся за свое самое дорогое достоинство; так его терзала мысль, что он потеряет свое небольшое состояние и, наверное, больше не сможет сохранять нерушимым свое чистое и подлинно античное отношение к философии; так он не раз ошибался, желая найти всецело доверяющих и сочувствующих ему людей, и неизменно возвращался унылым взглядом к своему верному псу. Он был законченным отшельником; у него не было ни одного настоящего единомышленника, в дружбе с которым он нашел бы отдохновение, – а ведь «кого-то» и «никого» в данном случае, как «нечто» и «ничто», всегда разделяет бездна. Человек, у которого есть настоящие друзья, не знает настоящего одиночества, пусть даже на него ополчатся все кругом. – Ах, я вижу, вам неизвестно, что такое одиночество. Где существовали сильные общества, правительства, религии, публичные мнения, короче говоря, где была какая-нибудь тирания, там она всегда ненавидела одиноких философов; ведь философия предоставляет человеку убежище, куда нет доступа никакой тирании, – пещеру душевных глубин, лабиринт груди: а тиранов это бесит. Там укрываются одинокие: но там же одиноких поджидает величайшая опасность. Эти люди, упрятавшие свою свободу в глубины души, должны ведь жить и вовне ее, проявлять себя вовне, показывать себя; они состоят в бесчисленных человеческих отношениях – в силу своего происхождения, места своего жительства, воспитания, подданства, случая, навязчи-

1 «Меня читают и будут читать» (лат.).

вости других людей; кроме того, предполагается, что у них есть бесчисленные мнения, просто потому, что эти мнения господствуют; всякое выражение их лица, если оно не похоже на отрицание, считается согласием; всякое движение их руки, если оно не похоже на разрушение, толкуется как одобрение. Им, этим одиноким и свободным в духе, известно, что они то и дело кажутся в чем-нибудь другими, чем мыслят о себе: они хотят только быть правдивыми и честными, но их опутывает сеть превратных представлений о них; и их сильное желание не может воспротивиться тому, что на их деяниях останется налет ложных мнений, приноравливания, полупризнанности, щадящего молчания, ошибочного истолкования. Облако меланхолии сгущается из-за этого на их челе: ведь необходимость создавать видимость для таких натур более ненавистна, чем смерть; а такое затяжное ожесточение по этому поводу делает их взрывными и агрессивными. Время от времени они мстят за то, что вынуждены прятаться, что им поневоле приходится скрытничать. Они выходят из своей пещеры с угрозой на лице; тогда их слова и поступки становятся взрывными, и бывает, что они несут гибель самим себе. В такой опасности жил Шопенгауэр. Как раз подобным отшельникам нужна любовь, они нуждаются в товарищах, с которыми можно быть открытыми и простыми, как с собой, в присутствии которых исчезает судорога скрытности и притворства. Стоит только удалить этих товарищей, как отшельники оказываются во все возрастающей опасности; от такого равнодушия погиб Генрих Клейст, и это – самое ужасное средство против необычных людей: загонять их в себя так глубоко, что когда они снова выходят наружу, это всякий раз подобно извержению вулкана. Но среди них всегда находится какой-нибудь полубог, который выдерживает жизнь при столь ужасающих условиях, и жизнь эта становится победоносной; а если вам захочется услышать его одинокие песни, слушайте музыку Бетховена.

Это была первая опасность, в тени которой созрел Шопенгауэр: одиночество. Вторая опасность – отчаяние в истине. Она сопровождает всякого мыслителя, начавшего свой путь с кантовской философии, – если он, конечно, человек сильный и цельный в страданиях и желаниях, а не

просто трескучая мыслительная и счетная машина. Но всем нам очень хорошо известно, что за постыдное обстоятельство связано вот именно с таким началом; мне даже кажется, что Кант вообще животворно повлиял лишь на очень немногих, преобразив их плоть и кровь. Правда, всюду пишут, что будто бы после трудов этого тихого ученого во всех сферах духа разразилась революция, – но я этому не верю. Ведь я толком не вижу этого в людях – прежде-то надо, чтобы революция произошла в них самих, а уж потом она может произойти в каких-нибудь сферах. Однако едва лишь Кант начинает оказывать влияние на широкую массу, как мы замечаем это последнее в виде разъедающего и разлагающего скептицизма и релятивизма; и только в самых деятельных и чистых умах, которые никогда не давали сомнению овладеть собою надолго, его место могло занимать то потрясение и отчаяние во всякой истине, какое пережил, скажем, Генрих Клейст под воздействием кантовской философии. «Не так давно, – пишет он в своей хватающей за душу манере, – я ознакомился с кантовской философией – и теперь в виде итога должен сообщить тебе одну мысль, не опасаясь, что она потрясет тебя так же глубоко и болезненно, как меня. – Мы не в состоянии судить, действительно ли то, что мы называем истиной, есть истина, или нам это только кажется. Если верно последнее, то та истина, которую мы здесь собираем, после смерти исчезает без следа, и тщетно всякое стремление получить в собственность то, что последует за нами и в могилу. – Если жало этой мысли не касается твоего сердца, то не смейся над другим, который чувствует себя глубоко раненным в своих сокровеннейших глубинах. Моя единственная, моя высочайшая цель пала, и теперь у меня нет никакой цели вообще». Когда же люди снова будут чувствовать так вот по-клейстовски естественно, когда они научатся соизмерять смысл той или иной философии в первую очередь со своими «сокровеннейшими глубинами»? А ведь это последнее-то и необходимо для начала, чтобы определить, чем, после Канта, может быть для нас как раз Шопенгауэр – а именно, вожатым, который выведет нас из пещеры скептического малодушия или критиканского ниспровергательства к вершине трагического созерцания, к ночному небу с его звездами в безграничной

вышине над нами, и который провел сам себя этим путем как первооткрыватель. В том-то и состоит его величие, что он противопоставил себя картине жизни как целого, чтобы как целое жизнь и объяснить; а ведь и самые проницательные головы не могут избавиться от иллюзии, будто, чтобы подобраться к такому объяснению, надо исследовать краски, которыми нарисована эта картина, и материю, на которую они нанесены, – и результатом вполне может оказаться, что холст соткан абсолютно непонятно, а краски непостижимы с точки зрения химии. Чтобы объяснить картину, надо разгадать художника, – вот что понял Шопенгауэр. Но вся научная братия вознамерилась толковать только холст и краски, а никак не картину; можно даже сказать, что безвредно для себя отдельными науками может пользоваться лишь тот, кто досконально разглядел общую картину жизни и существования, – ведь без такой регулятивной совокупной картины эти науки суть веревки, ни в одну сторону не доводящие до конца, а только делающие наш жизненный путь еще более запутанным и лабиринтоподобным. Тем-то, как уже сказано, и велик Шопенгауэр: он следует за этой картиной, словно Гамлет за привидением, не давая сбить себя с курса, как делают ученые, и не запутываясь в сетях схоластических понятий, что бывает уделом необузданных диалектиков. Изучение всех четверть-философов может быть интересно лишь по одной причине – оно помогает понять, что в строительстве великих философий те сразу оказываются на местах, где позволены всякие ученые «за» и «против», всякое копание, сомнение и прекословие, и что поэтому они уклоняются от условия всякой великой философии, которая всегда обращается к человеку лишь как целое: «Вот картина всей жизни, а уж из нее выводи смысл своей собственной жизни». И наоборот: «Читай только свою жизнь и, исходя из нее, понимай иероглифы жизни всеобщей». Поэтому-то и философия Шопенгауэра всегда должна трактоваться прежде всего таким образом – индивидуально, отдельной личностью только для себя, чтобы понять собственное жалкое состояние и нужду, собственную ограниченность, чтобы узнать о противоядиях и утешениях: а это – самопожертвование «я», это подчинение себя самым благородным устремлениям, в первую оче-

редь справедливости и милосердию. Он учит нас делать различие между подлинными и мнимыми видами ориентаций человеческого счастья: учит тому, что ни приобретение богатства, ни уважение окружающих, ни ученость не могут устранить глубокой досады отдельного человека, вызванной малоценностью его существования, и что стремление к этим благам получает свой смысл лишь благодаря высокой и просветляющей цели – обрести власть, чтобы с ее помощью сделать природе подсказку, научиться в какой-то степени исправлять ее глупости и неумение. Правда, поначалу – только для себя самого; но через себя в конечном итоге – и для всех. Это, конечно, стремление, которое глубоко и душевно подводит к позиции смирения: ведь что и насколько можно вообще исправить, и в индивидуальной, и во всеобщей жизни!

Если мы применим последние слова к Шопенгауэру, то затронем третью и наиболее характерную для него опасность, в которой он жил и которая была заложена в глубочайшей основе всего его существа. Всякий человек обыкновенно находит себя ограниченным от природы – и в способностях, и в силе нравственного чувства, и эта ограниченность внушает ему тоску и меланхолию; если он, тоскуя, стремится уйти от ощущения своей греховности к состоянию святости, то как существо разумное несет в себе глубокое желание гениальности. Здесь корень всякой подлинной культуры; и если под ней я подразумеваю страстное стремление людей *вновь родиться* в виде святого, в виде гения, то знаю: не надо быть буддистом, чтобы понять этот миф. Когда мы видим одаренного человека, лишенного такого стремления, в кругу ли ученых или просто среди так называемых образованных людей, нас охватывает отвращение, омерзение; мы чувствуем, что такие люди со всем их умом не содействуют, а препятствуют становлению культуры и появлению гениев, то есть достижению цели всякой культуры. Это состояние очерствения, равноценного той основанной на привычке, холодной и гордой собою добродетельности, которая как небо от земли далека от подлинной святости и держится вдали от нее. Натуре же Шопенгауэра присуща странная и крайне опасная двойственность. Немногие мыслители в такой степени и с такой бесподобной определен-

ностью ощущали, что в них живет гений; а его гений обетовал ему высочайшее – что не будет более глубокой борозды, чем та, которую его плут оставит на пашне современного человечества. Поэтому он чувствовал насыщенной и сбывшейся одну половину своего существа – она, уверенная в своей силе, уже ничего не жаждала; поэтому он с величием и достоинством выполнял свое призвание как победоносный завершитель. В другой же половине жила страстная тоска; она станет нам понятна, когда мы услышим, что он с прискорбием отвел взгляд от портрета великого основателя ордена траппистов, Рансе, со словами: «Это дело благодати». Ведь гений больше тоскует по святости, потому что со своей сторожевой вышки видит дальше и зорче, чем рядовой человек, когда глядит вниз, на примирение познания и бытия, вглубь, в сферу покоя и отвергнутой воли, и вдаль, на другие берега, где учат индусы. Но именно тут и свершается чудо: какой непостижимо цельной и нерушимой была, верно, натура Шопенгауэра, если ее не смогла сломить даже эта тоска, но не одолело и очерствение. Что это значит, каждый поймет в меру того, чем он является сам и насколько он велик: а полностью, во всей значимости, этого не понять никому из нас.

Чем больше размышляешь о трех описанных здесь опасностях, тем более странным все-таки кажется, с какой энергией Шопенгауэр защищался от них и насколько здоровым вышел из борьбы – именно он. Правда, вышел с множеством шрамов и незаживших ран, и в настроении, кажется, несколько слишком суровом, а порой и вовсе воинственном. Его личный идеал превышает возможности даже самого великого человека. Что Шопенгауэр способен быть примером, несомненно, несмотря на все эти рубцы и пятна. Мало того, можно сказать: то, что в его существе было несовершенным и слишком человеческим, как раз в самом человеческом смысле подводит нас к нему ближе, ведь тут мы видим его страдальцем и товарищем по страданию, а не только в неприступном величии гения.

Три названных опасности, идущие от коренного внутреннего склада и грозившие Шопенгауэру, грозят всем нам. В каждом человеке в качестве ядра его существа скрыта продуктивная уникальность; и если он осознает эту свою уни-

кальность, вокруг него возникает ореол странности, необычности. В глазах большинства это нечто невыносимое: ведь большинство, как уже говорилось, лениво, а за такой уникальностью неизбежно тянется целая цепь усилий и тяжестей. Нет никаких сомнений, что для необычного человека, обремененного такой цепью, жизнь теряет почти все, чего он ждет от нее в юности, – веселье, надежность, легкость, почет; удел одиночества – это подарок, который преподносят ему ближние; вокруг него тотчас образуется пустыня и пещера, и пусть он живет, где захочет. Только пусть остережется попасть под ярмо и стать жертвой удрученности и меланхолии. А потому пусть окружит себя портретами славных и смелых борцов, одним из которых был сам Шопенгауэр. Но совсем не так уж редко встречается и вторая опасность, грозившая Шопенгауэру. Природа там и сям снабжает кого-нибудь пронизательностью, и его мысли любят двойиться в диалектике; и когда он неосторожно дает полную волю своему таланту, то с легкостью может случиться, что как человек он гибнет, продолжая вести призрачную жизнь почти исключительно в «чистой науке»; или так, что он, привыкнув выискивать в вещах «за» и «против», вообще не попадает в истину и ему приходится жить без мужества и доверия, отрицая, сомневаясь, подтачивая, морщась от недовольства, наполовину отчаявшись, в ожидаемом разочаровании: «Да ни одна собака так жить не захочет!» Третья опасность – очерствение, в сфере нравственной или интеллектуальной; человек разрывает связь со своим идеалом; он перестает быть плодотворным в той или иной области, перестает передавать себя другим, и в смысле культуры становится хилым и ненужным. Уникальность его существа свернулась в неделимый, несообщаемый атом, в застывший камень. Так что человек может испортиться от своей уникальности, а также от страха перед этой уникальностью, от себя самого и в упразднении себя самого, от тоски и от очерствения: тут под угрозой оказывается его жизнь вообще.

Помимо этих опасностей, идущих от всего собственного коренного внутреннего склада, которым Шопенгауэр подвергался бы, живи он в то или иное столетие, есть еще и другие опасности, подступавшие к нему от его эпохи; и такое различие опасностей от внутреннего склада и опас-

ностей от эпохи важно для понимания того в натуре Шопенгауэра, что служило примером для других и было его педагогической жилкой. Представим себе, что взор философа направлен на существование в целом: он стремится установить его новую ценность. Ведь в том-то и заключалась специфическая работа всех великих мыслителей, чтобы служить законодателями меры, стоимости и веса всех вещей. В каком же затруднительном положении оказывается Шопенгауэр, когда человечество, которое он видит перед собой первым делом, предстает ему сморщенным и изглоданным червями плодом! Как много ему придется прибавить к малоценности нынешней эпохи, чтобы соблюсти справедливость в отношении всего сущего! Если занятия историей исчезнувших или чужих народов плодотворны, то больше всего пользы они приносят философам, стремящимся к справедливой оценке всего человеческого жребия, а, значит, не только среднего, но и прежде всего высшего жребия, какой может выпасть отдельному человеку или целым народам. А все современное назойливо, оно воздействует на взгляд и направляет его, даже если философ этого не хочет; и в общем балансе оно непроизвольно будет расценено чересчур высоко. Поэтому философ должен хорошенько определять, чем его эпоха отличается от других эпох, и путь к этому определению идет через преодоление современности в себе, в том числе в той картине жизни, которую он рисует, – он должен преодолеть современность, то есть сделать ее незаметной и как бы закрасить. Задача эта сложная, даже едва разрешимая. Суждение древнегреческих философов о ценности существования означает нечто куда большее, чем современное суждение, потому что перед ними и вокруг них была сама жизнь в ее роскошном цветении и потому что у них чувство мыслителей не было, как у нас, сбито с толка разладом между желанием свободы, красоты, величия жизни и порывом к истине, которая только и делает, что спрашивает: а чего стоит существование вообще? Во все времена будет важно знать, что сказал о существовании Эмпедокл, живший в разгар сильнейшего и безмерно наслаждения греческой культуры жизнью; его суждение очень весомо, тем более что на него не нашлось ни единого контраргумента любого другого великого философа той

же великой эпохи. Он только сказал об этом яснее всех, но, по сути дела, если вслушаться немного внимательней, то все они говорят одно и то же. Современный мыслитель, как уже было отмечено, всегда будет страдать от невыполненного желания: он будет требовать, чтобы сперва ему снова показали жизнь – настоящую, краснощекую, здоровую жизнь, а уж потом он вынесет ей свой приговор. Он будет считать необходимым по крайней мере самому быть живым человеком, прежде чем дерзнет поверить, что может судить справедливо. Это и объясняет, почему именно современные философы принадлежат к самым могучим защитникам жизни, воли к жизни, и почему с тоской стремятся выйти за пределы собственной утомленной эпохи к какой-то культуре, к какой-то преображенной природе. Но в этой же тоске кроется и *опасность* для них: в каждом из них реформатор жизни борется с философом, иными словами, с судьей над жизнью. Кому бы ни досталась победа, это будет победа, скрывающая в себе поражение. Каким же образом Шопенгауэр ушел и от этой опасности?

Если на всякого великого человека предпочитают смотреть как на подлинное дитя своей эпохи, и он, во всяком случае, страдает всеми ее недугами сильнее и чувствительней, чем все более мелкие люди, то борьба такого великана *против* своей эпохи только выглядит как бессмысленная и разрушительная борьба с самим собою. Но это только видимость; ведь в этой борьбе он одолевает то, что мешает ему быть великим, а для него это означает лишь одно: быть свободным и полностью быть самим собой. Отсюда следует: его вражда, в сущности, направлена как раз на то, что находится хотя и в нем самом, но на самом деле не есть он сам, а именно – на нечистый беспорядок и чересполосицу того, что не смешивается, и того, что навеки несовместимо, на мнимое прилипание того, что современно, к его несовершенности; а в конце концов мнимое дитя эпохи оказывается всего лишь ее *пасынком*. Поэтому-то Шопенгауэр уже с юных лет противился этой ненастоящей, пустой и недостойной матери – эпохе, и, как бы выдворив ее из себя, он очистил и исцелил свое существо и обрел себя в присущих ему здорově и чистоте. Поэтому сочинениями Шопенгауэра надо пользоваться как зеркалом эпохи; и, конечно же, если зер-

кало показывает все современное лишь как обезображивающую болезнь, как худобу и бледность, как пустые глаза и вялое выражение лиц, как зримые хвори пасынков эпохи, то дело тут не в погрешности зеркала. Тоска по крепкой натуре, по здоровому и простому человечеству была у него тоской по себе самому; и едва лишь Шопенгауэр одолел в себе эпоху, как, должно быть, тут же с изумлением обнаружил в себе гениальность. Теперь для него открылась тайна собственного существа, план мачехи-эпохи спрятать от него эту гениальность оказался сорван, и была найдена сфера просветленной природы. Когда он затем обратил свой бесстрашный взгляд к вопросу: «В чем ценность жизни вообще?», ему уже стало не нужно осуждать запутавшуюся и полинявшую эпоху и ее ханжески непрозрачную жизнь. Он хорошо понимал, что на этой земле еще можно найти нечто более высокое и чистое, чем такая современная жизнь, и что горькую обиду наносит существованию всякий, кто знает его только в этом отвратительном облике и соответственно о нем судит. Нет, теперь самому гению предстоит высказаться, чтобы можно было услышать, способен ли он, лучший из плодов жизни, оправдать жизнь вообще; великолепный творческий человек должен ответить на вопрос: «Одобрять ли ты в глубине души это существование? Доволен ли ты им? Хочешь ли быть его заступником, его спасителем? Ибо одно-единственное твое искреннее *да* – и жизнь, которой предъявлены столь тяжкие обвинения, будет отпущена на свободу». – Чем он ответит на это? – Ответом Эмпедокла.

4

Пусть это последнее указание до поры до времени останется непонятным: для меня сейчас важно нечто очень понятное, а именно – объяснить, как благодаря Шопенгауэру мы все можем воспитать себя *вопреки* нашей эпохе – ведь у нас есть то преимущество, что мы по-настоящему *знаем* эту эпоху благодаря ему. Если, конечно, это преимущество. Во всяком случае, через несколько столетий такое будет, наверное, совершенно невозможно. Меня забавляет вот такая игра мысли: вскоре людям вдруг по горло надоеет чтение, а за-

одно и писатели, и ученые в один прекрасный день одумаются, составят завещание и распорядятся сжечь свои трупы среди своих книг, а в особенности собственных сочинений. И если леса будут все больше исчезать, то не наступит ли когда-нибудь пора считать библиотеки древесиной, соломой и хворостом? Ведь большая часть книг явилась на свет из дыма и чада в головах: так почему бы им снова не обратиться в дым и чад? А коли нет в них никакого огня, то пусть их за это покарает огонь. Короче говоря, вполне возможно, что в какое-нибудь из грядущих столетий именно наше собственное столетие будут считать *saeculum obscurum*¹; ведь его продуктами станут охотнее всего и дольше всего топить печи. Как же мы поэтому счастливы, что можем ознакомиться с этой эпохой! Ведь если вообще имеет смысл заниматься своей эпохой, то, конечно, это счастье – заниматься ею так основательно, как только можно, так, чтобы ни у кого не оставалось на ее счет никаких сомнений: но как раз это-то и дает нам Шопенгауэр.

Разумеется, счастье было бы в сто раз большим, если бы из такого исследования проистекало, что еще никогда не бывало на свете столь гордой и полной надежд эпохи, как наша. Да и сейчас в каком-нибудь уголке земли, скажем, в Германии, есть люди, которые, того и гляди, поверят во что-то подобное, ведь они вполне серьезно говорят о том, что мир уже несколько лет как исправлен, а тот, кто, возможно, живет в тяжелых и мрачных раздумьях о существовании, противоречит «фактам». Ведь как дело-то обстоит: основание новой германской империи – это, мол, решающий и сокрушительный удар по всякому «пессимистическому» философствованию, а ему на уступки идти никак нельзя. – Так вот, тому, кто хочет напрямик ответить на вопрос о том, что должен означать в нашу эпоху философ как воспитатель, придется ответить на только что описанный, очень распространенный и особенно тщательно лелеемый в университетах взгляд, и ответить так: стыд и срам, что может высказываться и передаваться из уст в уста столь отвратительное, рабски покорное идолам эпохи ханжество так называемых мыслящих и почтенных людей, – и это до-

1 темным столетием (*лат.*).

казывает, что никто даже не подозревает, насколько злободневность в философии далека от злободневности газеты. Подобные люди потеряли последний остаток не только философов, но и религиозного умонастроения, а взамен раздобылись даже не оптимизмом, а журнализмом, духом и бездуховностью дня и ежедневных листков. Любая философия, которая думает, будто политические события отодвигают, а то и разрешают проблему существования, – это потешная философия, горе-философия. С тех пор как мир стоит, уже не раз возникали государства; это старый фокус. Так неужто какого-нибудь политического переворота достаточно, чтобы раз и навсегда сделать людей блаженными обитателями земли? И если кто-нибудь искренне верит в то, что это возможно, то пусть просто заявит о себе: ведь он и впрямь заслуживает того, чтобы сделаться профессором философии любого немецкого университета, подобно Хармсу из Берлина, Юргену Мейеру из Бонна и Каррьеру из Мюнхена.

Здесь, однако, мы сталкиваемся с последствиями проповедуемого на всех перекрестках учения, которое гласит, что государство – это последняя цель человечества, что нет для человека более высокого долга, нежели служение государству: я вижу в этом учении впадение не в язычество, а в глупость. Бывает, что такой человек, который усматривает свой высочайший долг в служении государству, и впрямь не ведает никакого другого высшего долга; но поэтому есть грань, за которой существуют другие люди, другой долг, и одна из его разновидностей, по крайней мере в моих глазах, более высокая, чем служение государству, предполагает искоренение глупости во всех ее формах, а, значит, и вот этой глупости. Поэтому я занимаюсь тут людьми такой породы, телеология которых усматривает кое-что помимо блага государства, философами, да и философами только в связи с миром, в свою очередь достаточно независимым от блага государства, – в связи с культурой. Из многих звеньев, сцепленных друг с другом и образующих человеческое общество, некоторые сделаны из золота, а другие – из латунного сплава.

Так как же философ смотрит на культуру в нашу эпоху? Разумеется, совсем иначе, чем блаженствующие в своем государстве профессора философии. Когда он думает о все-

общей спешке и возрастающей скорости свободного падения, об исчезновении всяческой созерцательности и простоты, ему так и кажется, что он видит перед собой симптомы полного истребления и искоренения культуры. Воды религии спадают, оставляя после себя болота или пруды; народы снова разъединяются самым враждебным образом и жаждут растерзать друг друга. Науки, полностью ослепленные и не ведающие никакой меры в поощрении *laissez faire*, дробят на куски и разлагают все исконно очевидное; образованные сословия и государства увлечены грандиозно-презренной денежной экономикой. Мир никогда еще не был больше миром, никогда он не был беднее любовью и добротой. Ученые сословия больше не служат маяками или гаванями посреди всех этих тревог секуляризации; у них у самих с каждым днем нарастает тревожность и скудеют мысль и любовь. Всё, не исключая нынешних искусств и наук, служит наступающему варварству. Образованные люди выродились в заклятых врагов образования – ведь они стремятся ложью замолчать всеобщую болезнь и только мешают врачам. А когда говорят об их немощи, когда выступают против их пагубной лживости, они злятся, эти обессиленные бедные плуты. Уж очень им хочется заставить поверить, будто они установили окончательную цену всем столетиям, и они изображают деланную радость. Их манера прикидываться счастливыми порой бывает трогательной, потому что совершенно непостижимо, что для них счастье. Их даже не надо спрашивать, как Тангейзер спрашивает Битерольфа: «Так чем же ты, несчастный, наслаждался?» Ведь нам-то ответ известен лучше, и притом лежащий за пределами их понимания. Вокруг нас зимний день, и живем мы в высокогорье, живем в опасности и нужде. Кратки наши радости, и бледны пятна солнца, добирающиеся до нас по белым горам. Вот раздается музыка, это старик играет на шарманке, а люди кружатся в пляске, и зрелище леденит страннику душу, настолько все дико, окончательно, бесцветно и безнадежно, – и вдруг здесь раздаются звуки ликования, бездумного громкого ликования! Но уже крадутся туманы раннего вечера, музыка отзвучала, хрустят камни под ногами странника, и все, что он еще видит перед собой, – равнодушный и жестокий лик природы.

Если уж пришлось проявить односторонность, чтобы в картине современной жизни выделить лишь вялость линий и топорность красок, то вторая сторона, уж конечно, ничуть не более отрадна, а только тем сильнее внушает тревогу. Тут, правда, есть силы, невероятные силы, но необузданные, первобытные и совершенно немилосердные. На них смотришь с пугливым ожиданием, словно в котел на кухне ведьм: варево в нем в любой момент может вздрогнуть и сверкнуть, возвещая какие-то ужасные явления. Уже столетие как мы подготовлены к самым фундаментальным потрясениям; и если с недавних пор совершаются попытки противопоставить этой глубочайшей современной склонности ниспровергать или взрывать конститутивную силу так называемого национального государства, то все равно и оно еще долгое время будет только приумножать всеобщую ненадежность и опасность. Нас не введет в заблуждение, что индивиды ведут себя так, будто ничего не ведают обо всех этих опасениях: их тревожность показывает, как хорошо они об этом ведают; они думают о себе с такой спешкой и исключительностью, с какой люди еще никогда о себе не думали, они строят и растят на злобу своего дня, и погоня за счастьем, словно его непременно надо добыть до завтра, никогда не будет такой суматошной: ведь послезавтра, может быть, охотничий сезон кончится навсегда. Мы живем в период атомов, атомистического хаоса. В Средние века Церковь более или менее удерживала вместе враждующие силы и в какой-то степени взаимно ассимилировала их посредством сильного давления, которое она на них оказывала. Но как только удерживающая связь была порвана, а давление ослабло, одна из них восстала на другую. Реформация объявила многие вещи лежащими по ту сторону оценок, сферами, которые не должны определяться согласно религиозным идеям; это была плата, за которую она сама только и могла существовать, – да уже и христианство подобной ценой утвердило свое существование перед лицом куда более религиозной античности. Начиная с этого момента разрыв только усиливался. Сегодня почти все на земле определяется только самыми зверскими и злобными силами – эгоизмом потребителей да армейскими тиранами. Государство, находящееся в руках этих последних, пытается

ся, конечно, равно как и эгоизм потребителей, заново организовать все по-своему и стать связующим гнетом для всех враждующих сил: иными словами, оно хочет, чтобы люди почитали его тем же идолослужением, каким прежде почитали Церковь. А каким должен быть результат? Нам еще предстоит испытать его на своей шкуре; во всяком случае, сейчас мы все еще находимся в ледоходном течении средневековья; подтаявший лед взломан, и поток пришел в мощное опустошительное движение. Одна глыба льда громоздится на другую, берега затоплены, и положение угрожающее. Никак не избежать революции, причем революции атомистической: но каковы же мельчайшие неделимые частицы, из которых состоит человеческое общество?

Нет сомнений в том, что когда такие периоды еще только наступают, человеческое начало оказывается в опасности чуть ли не большей, чем во времена самих переворотов и хаотичных водоворотов, и что боязливое ожидание и алчная эксплуатация момента выманивает из души наружу всяческую трусость и эгоистические побуждения, в то время как настоящая беда, и особенно общность великой беды, обычно улучшает и согревает людей. Кто же, посреди таких опасностей нашего периода, посвятит себя, как хранитель и рыцарственный защитник, *человечности*, этой неприкосновенной священной храмовой казне, которую мало-помалу скопили самые разные поколения? Кто поднимет упавший *образ человека* – когда все ощущают в себе лишь шевеление червя эгоизма да собачий страх, а потому отпали от этого образа, упали вниз, став чем-то животным, а то и тупо-механическим?

Есть три образа человека, расставленных нашей новой эпохой один позади другого, зрелище которых, наверное, еще долго будет давать смертным стимулы для преобразования своей жизни: это человек Руссо, человек Гёте и, наконец, человек Шопенгауэра. В первом из этих образов больше всего огня, и он уверен в своей величайшей популярности; второй создан лишь для немногих – для созерцательных натур большого размаха, а толпой понимается превратно. Третий требует, чтобы его зрителями были наиболее деятельные из людей – только такие будут смотреть на него без вреда для себя, поскольку людей созерцательных он ослабляет, а толпу устрашает. От первого исходила сила,

толкавшая и еще поныне толкающая к бурным переворотам; ведь когда происходят всякие социалистические содрогания и землетрясения, то это всегда, подобно древнему Тифону под Этной, шевелится человек Руссо. Угнетенный и наполовину растоптанный высокомерными кастами, беспощадным богатством, испорченный священниками и плохим воспитанием, стыдящийся себя по причине смехотворных манер, этот человек в своей беде вызывает к «святой природе» и внезапно чувствует, что она от него далека, словно какой-нибудь эпикурейский бог. До нее не доходят его молитвы – настолько глубоко он погрузился в хаос неестественности. Он в сердцах отбрасывает все пестрые наряды, которые еще совсем недавно казались ему всем самым человеческим в себе, – свои искусства и науки, преимущества своей усовершенствованной жизни, он стучит кулаком по каменным стенам, в тени которых так дегенерировал, и вопит, требуя света, солнца, леса и скал. И, восклицая: «Лишь природа добра, лишь естественный человек человекен!», он презирает себя и тоскует по избавлению от себя самого: это настроение, в котором душа готова на страшные дела, но заодно и вызывает из своих глубин наверх самое благородное и редкое.

Человек Гёте – вовсе не столь угрожающая сила, мало того, в определенном смысле он даже подправляет и успокаивает именно те опасные возбуждения, на волю которых брошен человек Руссо. Гёте и сам в юности всей своей любвеобильной душой был предан евангелию от доброй природы; его Фауст был самым величественным и смелым слепком человека Руссо, по крайней мере, когда автор хотел изобразить волчий голод героя по жизни, его неудовлетворенность и тоску, его общение с демонами души. А теперь присмотримся, что же выходит из всех этих сгустившихся туч, – оказывается, вовсе не молния! Вот тут-то и является на свет дня новый образ человека – гётевского человека. Казалось бы, следует думать, что Фауст проходит по угнетенной со всех сторон жизни как неустанный возмутитель и освободитель, как сила, отрицающая из доброты, как подлинный словно бы религиозный и демонический гений переворота – в противоположность своему отнюдь не демоническому спутнику, хотя от этого спутника он никак не

может отделаться и вынужден заразить использовать и презирать его скептическую злобу и нигилизм, что и является трагическим жребием всякого возмутителя и освободителя. Однако подобные ожидания ведут к заблуждению; здесь человек Гёте отходит от человека Руссо; ведь ему ненавистно всякое насилие, всякий резкий сдвиг – а это означает: всякое дело; и вот из Фауста, освобождающего мир, получается как бы всего лишь Фауст, путешествующий по миру. Этот ненасытный наблюдатель пролетает мимо всех сфер жизни и природы, всех ушедших эпох, искусств, мифологий, всех наук, возбуждая и утоляя свое глубочайшее желание, – даже Елена в конце концов больше не выдерживает его; и вот неизбежно наступает момент, которого ждет не дожидаясь его насмешливый спутник. Полет кончается в произвольной точке земного шара, перья выпадают, Мефистофель тут как тут. Когда немец перестает быть Фаустом, ничто не грозит ему больше, чем перспектива стать обывателем и попасть в лапы дьявола, – а избавить его от этого могут лишь силы небесные. Человек Гёте, как я уже сказал, – созерцательный человек в возвышенном стиле, который держится на этой земле лишь благодаря тому, что собирает себе на пропитание все великое и значительное, что только было и есть, и живет этим, хотя его жизнь есть жизнь от одного желания к другому; он – не человек дела: наоборот, когда он встраивается в каком-нибудь месте в существующие порядки людей дела, то можно не сомневаться в том, что ничего путного из этого не выйдет – как и из горячего рвения, которое сам Гёте проявлял к театру, – но прежде всего в том, что никакой «порядок» ниспровергнут не будет. Гётевский человек – сила сохраняющая и примиряющая, но ему, как уже говорилось, грозит опасность выродиться в обывателя, так же как человек Руссо с легкостью может сделаться катилинарием. Будь у первого чуточку больше мышечной силы и природной необузданности, все его доблести сразу возросли бы. Сдается, Гёте понимал, в чем заключается опасность для его человека и в чем его слабость – он намекает на это словами Ярно в «Вильгельме Мейстере»: «Вы человек недовольный и ожесточенный, это прекрасно, это замечательно; но если б Вы только как следует разозлились, то было бы еще лучше».

Так вот, говоря откровенно: нам нужно как следует разозлиться, чтобы дела пошли лучше. И в этом нам должен придать духа образ шопенгауэровского человека. *Шопенгауэровский человек добровольно берет на себя страдание от своей правдивости*, и это страдание служит ему для того, чтобы умертвить собственное своеволие и подготовить тот полный переворот, ту трансформацию своего существа, вести к которой и составляет подлинный смысл жизни. Говорить правду в лицо – другим людям это кажется проявлением злобы, ведь консервацию своих недомолвок и уверток они считают делом гуманности и думают, будто только злобный человек может своей правдивостью растоптать их игрушку. Их так и подмывает крикнуть подобному человеку то, что Фауст говорит Мефистофелю: «Итак, живительным задаткам, производящим все кругом, объятый зависти припадком, грозишь ты злобно кулаком?»; а тот, кто захотел бы жить по-шопенгауэровски, был бы, наверное, похож больше на Мефистофеля, чем на Фауста, – правда, для близоруких современных глаз, в отрицании всегда усматривающих отличительный признак зла. Есть, однако, вид отрицания и разрушения, равнозначный как раз проявлению той могучей тоски по освящению и спасению, первым учителем-философом которой среди нас, оскверненных и в подлинном смысле слова омирщвленных людей, выступил Шопенгауэр. Всякое существование, которое можно отрицать, отрицания и заслуживает; а быть правдивым означает верить в существование, которое вообще невозможно отрицать – оно само истинно, лишено лжи. Поэтому правдивый человек чувствует, что смысл его деятельности – метафизический, объяснимый законами другой, более высокой, жизни и в глубочайшем смысле слова утверждающий: и все, что бы он ни делал, является разрушением и уничтожением законов этой < более низкой > жизни. Тогда, конечно, его деятельность неизбежно приведет к постоянному страданию, но ему известно то, о чем знал и Мастер Экхард: «Самое быстрое животное, которое доведет вас до совершенства, – это страдание». Мне хочется думать, что у всякого, кто изберет для себя такую жизненную позицию, расширится душа и возникнет горячее желание быть таким вот шопенгауэровским человеком: а это значит, быть очищенным для себя и сво-

его личного блага, быть на редкость невозмутимым, а в познании – полным сильного пожирающего пламени, быть куда как далеким от холодной и презрительной нейтральности так называемого человека науки, быть поднявшимся высоко над брюзгливым и недовольным наблюдением, всегда отдавать себя в первую жертву познанной истине и быть до глубины проникнутым пониманием того, какие страдания непременно породит его правдивость. Понятно, такой смелостью он разрушит свое земное счастье, ему придется быть враждебным даже к людям, которых он любит, к учреждениям, в стенах которых воспитывался, он не сможет щадить ни людей, ни вещи, хотя бы и страдал вместе с ними от нанесенных им же ран, он будет непризнанным, а силы, вызывающие у него отвращение, долго будут считать его своим союзником, при всем стремлении к справедливости ему придется быть несправедливым по человеческим меркам своего разума: но он имеет право убедить и утешить себя словами, которыми однажды воспользовался Шопенгауэр, его великий воспитатель: «Счастливая жизнь невозможна; самое большее, чего может достичь человек, – это *жить героической жизнью*. Такую жизнь ведет тот, кто в какой-нибудь сфере и по какому-нибудь поводу борется с огромными трудностями за то, что как-то пойдет на пользу всем, и в конце концов побеждает, но при этом получает небольшую награду, а то и вовсе никакой. А в итоге остается стоять, как статуя в "Ворогне" Гоцци, но в благородной позе и с жестом щедрости. Память о нем сохранится, и ее будут чтить, как память героя; его воля, в течение всей жизни умерщвлявшаяся заботами и трудами, неудачами и неблагоприятностью мира, угаснет в нирване». Такая героическая жизнь и вдобавок совершенное в ней умерщвление воли, разумеется, меньше всего укладывается в скудные представления тех, что больше всего о них разглагольствуют, справляют праздники в честь великих людей и мнят, будто великий человек велик, точно так же как они малы, словно благодаря какому-то подарку, себе в удовольствие или благодаря некоему механизму, слепо послушный этому внутреннему принуждению: а потому тот, кто такого подарка не получил или не почувствовал такого принуждения, имеет точно такое же право быть малым, какое тот – быть великим. Но

быть осыпанным дарами или подчиненным – это презрительные слова, которые удовлетворяют желание избежать внутреннего призыва, они оскорбительны для всякого, кто такой призыв услышал, а, значит, для великого человека; именно он меньше всего позволяет всем одаривать или приносить себя – ему так же хорошо, как и любому маленькому человеку, известно, с каким легкомыслием можно относиться к жизни и насколько мягко ложе, на котором он мог бы разлечься, если бы начал проявлять в отношении себя и своих ближних послушание, вести себя обыденно: ведь все человеческие порядки нацелены на то, чтобы в постоянной рассеянности мыслей не *чувать* жизни. Почему же он так сильно жаждет противоположного, а именно – *чувать* жизнь, то есть страдать от жизни? Потому что замечает, что его обманом хотят лишить самого себя и что существует своего рода соглашение – выкрасть его из пещеры, составляющей его собственность. Тогда он упирается, навостряет уши и принимает твердое решение: «Я хочу оставаться самим собой!» Такое решение ужасно; он понимает это лишь со временем. Ведь теперь ему приходится погружаться в пучины существования с целым рядом необычных вопросов на устах: «Для чего я живу? Какой урок я должен извлечь из жизни? Каким образом я стал таким, какой я есть, и почему же я страдаю от того, что я именно таков?» Он терзается – и видит, что никто кругом так не терзается, что, наоборот, руки его ближних жадно тянутся к фантастическим событиям, разыгранным в театре политики, или – что ближние сами важно вышагивают в сотнях разных масок: мужей, старцев, отцов, граждан, священников, служащих, купцов, заботливо думая о своей совместной комедии, а вовсе не о себе самих. Все они ответили бы на вопрос: «Для чего ты живешь?» быстро и с гордостью – «Чтобы *стать* хорошим гражданином, или ученым, или сановником» – однако *являются-то они* тем, что ни при каких обстоятельствах не станет чем-то другим. Но почему же они именно таковы? А, увы, не что-нибудь получше? Кто понимает свою жизнь всего лишь как точку в истории рода, государства или науки и, стало быть, хочет быть составной частью мирового процесса, истории, тот не понял урока, заданного ему существованием, и должен будет выучить его

как-нибудь в другой раз. Этот вечный процесс – лживое кукольное представление, глядя на которое человек забывает о самом себе, оно – сущее рассеяние, развеивающее индивида по всем сторонам света, бесконечная игра глупости, которую разыгрывает перед нами и в которую играет с собою большое дитя – время. Героизм правдивости, о котором идет речь, заключается в том, чтобы в один прекрасный день прекратить быть игрушкой времени. Все в процессе становления – пустое, обманчивое, плоское и заслуживает нашего презрения; загадку, которую обязан разрешить человек, он может разрешить, лишь основываясь на бытии, на таком-то определенном, а не ином бытии, на непреходящем. Теперь он начинает проверять, насколько глубоко и неразрывно связан со становлением, а насколько – с бытием, и перед его душой встает неимоверная задача: разрушить все становящееся, вывести на чистую воду все лживое в вещах. Он тоже хочет все познать, но он хочет этого иначе, чем гётевский человек, – не в угоду некоей благодородной мягкотелости, с целью сохранить себя и наслаждаться многообразием вещей; нет, он сам – первая жертва, которую приносит себе. Героический человек презирает свое благополучие или злополучие, свои добродетели и пороки и вообще измерение вещей своей мерой, он ничего от себя не ждет, ни на что не надеется и хочет заглянуть во все вещи до этого безнадежного дна. Его сила – в забвении себя самого; а если он о себе и вспоминает, то чувствует зияние между своей высокой целью и собой, и ему кажется, будто он видит сзади и под собой какую-то невзрачную кучку шлака. Древние мыслители всеми силами искали счастье и истину – но никому не найти того, что он положил себе искать, гласит лютей принцип природы. А тому, кто во всем ищет неправду и добровольно примыкает к несчастью, возможно, уготовано другое чудо разочарования: к нему приближается нечто невыразимое словами, всего лишь застывшими слепками чего являются счастье и истина, земля перестает притягивать к себе, события и силы, действующие на земле, становятся призрачными, и вокруг него разливается просветление, словно в летние вечера. Созерцающему кажется, будто он только начинает пробуждаться и вокруг него все еще вьются облачка, оставшиеся от исчезающего

сновидения. Но когда-нибудь и они развеются окончательно: тогда настанет день.

5

Однако же я обещал представить Шопенгауэра как *воспитателя* согласно моему собственному опыту, и, значит, еще далеко не достаточно, да еще несовершенными словами, изобразить того идеального человека, который правит в Шопенгауэре и вокруг него, словно его платоновская идея. Теперь остается самое трудное: сказать, как, исходя из этого идеала, следует обретать новый круг обязанностей и каким образом можно вступить в связь со столь амбициозной целью через регулярную деятельность, короче говоря, как доказать, что такой идеал *воспитывает*. Вообще-то можно было бы думать, что лишь на отдельные мгновения дается нам это блаженное, даже пьянящее представление, чтобы тем более жестоко бросить нас потом на произвол судьбы и ввергнуть в тем более глубокое уныние. Да и впрямь, именно *так мы начинаем* устанавливать свою связь с этим идеалом, с этими внезапными контрастами света и тьмы, опьянения и отвращения, и здесь воспроизводится опыт, такой же древний, как и сами идеалы. Но нам нельзя медлить на пороге, нам надо быстро пройти это начало. А потому следует серьезно и настойчиво спросить: возможно ли приблизиться к этой невероятно высокой цели так, чтобы она нас воспитывала, вытягивая нас наверх? И при этом так, чтобы к нам не относились великие слова Гёте: «Человек рожден с ограниченным кругозором; ему видны простые, близкие, определенные цели, он привыкает пользоваться теми средствами, что у него под руками; но, попав в менее ограниченные пределы, он перестает понимать, чего хочет, что от него требуется, и тут уж не имеет значения, теряется ли он от обилия новых предметов, или голова идет у него кругом от их великолепия и достоинства. Горе ему, если он вздумает домогаться того, с чем не может быть связан регулярной и самостоятельной деятельностью». С убедительной видимостью справедливости можно выдвинуть такое возражение как раз против шопенгауэровского че-

ловека: его достоинство и великолепие в состоянии только выбить нас из колеи, а вследствие этого, в свой черед, исключить нас из всякого общения с людьми деятельными; и тогда прощай наша связь с людьми через долг, прощай нормальное течение жизни. Кто-то, может быть, привыкнет, наконец, с мрачным видом отходить в сторону и жить по двойной мерке, то есть в разладе с собой, там и сям он будет чувствовать себя неуверенно и потому с каждым днем становиться все слабей и бесплодней; а кто-то и вовсе принципиально откажется взаимодействовать с другими – он и пальцем не пошевелит, когда другие будут что-то делать. Когда человеку становится чересчур тяжело и он не в состоянии *исполнять* никакой долг, опасности для него всегда велики; из-за этого те натуры, что посильнее, могут сломаться, а те, что послабее, более многочисленные, вдаются в задумчивую лень, а от лени в конце концов утрачивают и саму задумчивость.

Что касается таких возражений, то я согласился бы с ними в том смысле, что наша работа здесь только началась, и я, судя по собственному опыту, уже определенно вижу и знаю лишь одно: исходя из этой идеальной картины, можно протянуть между одним человеком и другим цепь выполнимых обязанностей, и некоторые из нас уже ощущают тяжесть этой цепи. Но чтобы без колебаний высказать формулу, в которую я намерен свести этот новый круг обязанностей, мне понадобятся следующие предварительные рассуждения.

Люди с глубиной во все времена именно поэтому испытывали сострадание к животным, ведь те принимают страдание от жизни, но не обладают способностью обратить жало страдания на самих себя и понять свое существование метафизически; да и вообще, зрелище бессмысленного страдания возмущает до глубины души. Поэтому не в одном только месте земного шара родилось предположение, что в тела этих животных внедрены души отягощенных виною людей и что перед лицом вечной справедливости на первый взгляд возмутительное, бессмысленное страдание исчезает, становясь исключительно осмысленным и полным значения, а именно карой и расплатой. Это и впрямь тяжкая кара – жить вот так в виде животного, в условиях

голода и жажды, но не находить никакой ясности относительно этой жизни; и невозможно представить себе жребия более тяжкого, чем жребий хищника, гонимого по пустыне гложущей мукой, утоляемой редко, да и тогда только таким образом, что утоление превращается в пытку, в кровавую битву с другими животными, или через мерзкую алчность и пресыщение. Так слепо и жадно держаться за жизнь, не зная ей никакой более высокой цены, даже отдаленно не догадываясь, откуда и для чего такая кара, но с глупостью всепоглощающего вождения томясь как раз по этой самой каре, словно она – счастье: все это и значит быть животным; и если вся природа теснится к человеку, то тем самым она дает понять, что он нужен для ее спасения от проклятья животной жизни и что в нем, наконец, существование подносит себе зеркало, на дне которого жизнь предстает уже не бессмысленной, а полной метафизического значения. Но задумаемся о том, где прекращается животное и где начинается человек. Тот самый человек, до которого природе только и есть дело! Покуда кто-то жаждет жизни как блаженства, его взгляд еще не выходит за пределы горизонта животного, с той лишь разницей, что он с большей сознательностью стремится к тому, чего животное домогается в слепом порыве. Однако большую часть жизни именно этим мы и заняты: мы, как правило, не выходим за пределы животности, мы сами – животные, страдающие как будто бы бессмысленно.

Но бывают мгновения, *когда мы это понимаем*: тогда расступаются облака, и мы видим, что вместе со всей природой пробиваемся к человеку – чему-то такому, что стоит высоко над нами. С внезапной ясностью, ужасаясь, мы глядим вокруг себя и назад: там бегают усовершенствованные хищные животные, и мы находимся прямо посреди них. Чудовищных масштабов передвижения людей по великой пустыне Земли, основание их городов и государств, их войны, их беспрестанное слияние и раздробление, их быстрое перемешивание, взаимная ассимиляция, их взаимный обман и взаимное растаптыванье, их вопли о помощи, их торжествующий рев наслажденья – все это продолжение животности: словно человек нарочно отступил назад и обманным путем лишился своей метафизической предрасположен-

ности, мало того, словно природа, так долго томившаяся по человеку, так долго добивавшаяся его своим трудом, теперь отшатывается от него с дрожью отвращения, предпочитая вернуться к бессознательности влечения. Ах, она нуждается в познании – но познание ее ужасает, познание, которое ей только и нужно; и вот пламя беспокойно мечется туда-сюда, словно боясь самого себя, сначала охватывая великое множество вещей, прежде чем ухватить, почему природа вообще нуждается в познании. В отдельные мгновения все мы знаем, что самые распространенные институты нашей жизни созданы лишь для того, чтобы мы могли улизнуть от своей подлинной задачи, что нам больше всего на свете хотелось бы спрятать куда-нибудь голову, как будто нашей стоглазой совести нас там не поймать; что мы без колебаний отдаем свое сердце государству, заработку, общению или науке – только для того, чтобы от него избавиться; что мы батрачим даже на тяжелой поденной работе с большим жаром и безоглядностью, чем нужно, чтобы жить: ведь нам кажется, будто куда нужнее ни на что не оглядываться. Спешка стала всеобщей, потому что каждый бежит от самого себя, всеобщей стала и манера робко скрывать эту спешку, потому что мы хотим казаться довольными, чтобы обмануть относительно своего жалкого состояния тех наблюдателей, что более проницательны, всеобщей стала потребность в новых звонких словах-бубенчиках, нужных, чтобы увешанная ими жизнь получила призыв шумного празднества. Каждому знакомо странное состояние, когда на нас внезапно наваливаются неприятные воспоминания, и мы всю стараемся выбить их из души с помощью бурных движений и звуков: но по движениям и звукам будничной жизни можно догадаться, что все мы и всегда находимся в таком состоянии – в страхе перед памятью и самоуглубленностью. Так что же это столь часто не дает нам покоя, какой комар не дает нам спать? Вокруг нас все призрачно, каждое мгновение жизни хочет что-то сказать нам, но мы не желаем слышать этот призрачный голос. Оставшись наедине с собой и в тишине, мы боимся, что до наших ушей дойдет некий шепот, а потому ненавидим тишину и оглушаем себя общением.

Все это мы, как уже говорилось, время от времени вдруг понимаем и сильно удивляемся всему такому головокружи-

тельному страху и спешке, вообще снопоподобному состоянию нашей жизни, которую, кажется, ужасает пробуждение и которая видит сны тем более интенсивно и беспокойно, чем ближе она к пробуждению. Но одновременно мы чувствуем, что слишком слабы, чтобы долго выносить эти мгновения сильнейшей самоуглубленности, и что мы не те люди, к которым вся природа теснится для своего спасения: еще хорошо, что мы вообще иногда выныриваем на высоту головы и замечаем, в какой поток так глубоко погружены. Да и это мы способны делать не собственными силами – выныривать и пробуждаться на исчезающе малый момент: нас надо поднимать. А кто же они – те люди, которые нас поднимают?

Это – подлинные люди, это те, что перестали быть животными, философы, художники и святые, при их появлении и благодаря их появлению природа, которая никогда не делает скачков, совершает свой единственный скачок, и притом от радости, поскольку впервые чувствует себя у цели, а именно там, где понимает, что должна позабыть о целях и что уже вдоволь наигралась в игру жизни и становления. Познание этого просветляет ее, и на ее лик ложится мягкий ответ вечерней усталости – люди зовут это «красотой». То, что выражает теперь этот просветленный лик, – великое *просвещение* о существовании; а величайшее желание, какое только могут питать смертные, – неотрывно и с открытым слухом принимать участие в этом просвещении. Если кто-то поразмыслит о том, чего только не пришлось выслушать, к примеру, Шопенгауэру за всю его жизнь, то, вероятно, он скажет себе: «Ах, мои глухие уши, моя глупая голова, мой мерцающий ум, мое усохшее сердце, ах, все, что я считаю своим! Как я презираю все это! Не летать, а лишь порхать! Глядеть ввысь – и не уметь подняться! Знать путь, что ведет к безбрежно вольному взгляду философа, и уже начать его, но отшатнуться назад, сделав всего несколько шагов! Если бы только мог настать день, когда сбудется то величайшее желание, с каким удовольствием я предложил бы в виде платы за это всю мою оставшуюся жизнь! Подняться на высоту, на которую когда-либо поднимались мыслители, в чистый морозный альпийский воздух, туда, где кончаются туманы и завесы, где изначальное состояние

вещей выражается резко и жестко, но с неумолимой внятностью! Лишь думая об этом, душа становится одинокой и безбрежной; а если б исполнилось ее желание, если б ее взгляд падал на вещи отвесно и горячо, как луч света, если б умерли ее стыд, боязливость и вожделение – какими словами следовало бы тогда передать ее состояние, то новое и загадочное побуждение без возбужденности, с которым она, подобно душе Шопенгауэра, осталась бы простертой на неимоверных иероглифах существования, на застывшем в камень учении о становлении – застывшем не в виде ночи, а в виде пылающего, алого, заливающего весь мир света. И, опять-таки, что же это за удел – предчувствовать особое предназначение и блаженство философа в достаточной степени, чтобы ощутить никчемность и злополучие нефилософа, человека, вождеющего без надежды! Осознавать себя плодом на дереве, которому никогда не дозреть из-за слишком густой тени, и видеть, как прямо перед тобой лежит солнечный свет, но быть лишенным его!»

Такой муки было бы довольно, чтобы сделать человека, обойденного талантом, завистливым и озлобленным, если в нем вообще заложены зависть и злоба; однако скорее всего он в конечном итоге развернет свою душу в другую сторону, чтобы ей не изводить себя тщетной тоскою, и тогда *откроет* для себя новый круг обязанностей.

Вот я и добрался до ответа на вопрос о том, возможно ли такое – вступить в связь с великим идеалом шопенгауэровского человека через регулярную самостоятельную деятельность. Прежде всего, не подлежит никакому сомнению: эти новые обязанности – не обязанности человека одинокого; напротив, вместе с ними человек вступает в могучую общность, которая держится, правда, не на внешних формах и законах, а на некоей фундаментальной идее. Это – фундаментальная идея *культуры*, насколько таковая сумеет поставить перед каждым из нас лишь одну задачу: *содействовать созданию в нас и вне нас философа, художника и святого и тем самым работать над завершением природы*. Ведь природа нуждается в философе, так же как и в художнике, с метафизической целью, а именно, чтобы обрести просвещение относительно себя самой, которое придет, когда в один прекрасный момент перед ней, наконец, в виде ясной и готовой

картины появится то, чего ей в суматохе становления никогда не разглядеть со всей определенностью, – иными словами, чтобы обрести самопознание. Гёте задорно-глубоко-мысленными словами прозрачно намекнул на то, что все попытки природы результативны, лишь если ее бормотание в конце концов разгадает художник, если он застигнет ее на полпути и ясно скажет, чего она, собственно, своими попытками добивается. «Я не раз говорил, – воскликнул он однажды, – и еще не раз повторю, что *causa finalis*¹ всех все-ленских и человеческих раздоров – это драматическая поэзия. Ведь больше эта штукавина решительно ни на что не годится.» А напоследок природа нуждается в святом, у которого «я» растаяло совершенно и полная страданий жизнь которого воспринимается уже не как индивидуальная или почти не как индивидуальная, а как чувство тождества, соседства и единства со всем живущим: в святом, в чьем существе свершается чудо преображения, чудо, до которого никогда не додуматься игре становления, – это последнее и высочайшее вочеловечение, цель всех стремлений и домогательств природы, а именно ее спасение от самой себя. Нет никаких сомнений в том, что все мы ему родственны и с ним связаны, как родственны философу и художнику; бывают мгновения и как бы искры ярчайшего, нежнейшего пламени, в свете которого мы больше не понимаем, что значит «я»; и есть по ту сторону нашего существа нечто такое, что в эти мгновенья становится чем-то посюсторонним, а потому мы от всего сердца жаждем найти мосты между той стороной и этой. В своем обычном состоянии мы, конечно, ничем не можем содействовать созданию такого человека-спасителя, а потому *ненавидим* себя в этом состоянии – ненавистью, являющейся корнем того пессимизма, снова учить которому нашу эпоху пришлось Шопенгауэру, но который стар в той же степени, в какой в разные времена бывала стара тоска по культуре. Ее корнем, но не цветом, ее как бы нижним этажом, но не верхушкой крыши, началом ее пути, но не конечной целью: ведь когда-нибудь нам еще предстоит научиться ненавидеть что-то другое, более всеобщее – уже не свою индивидуальность с ее жалкой ограниченно-

1 целевая причина (лат.).

стью, с ее изменчивостью и метаниями; и это будет то повышенное состояние, в котором и любить мы станем нечто иное, чем то, что можем любить сейчас. Лишь когда мы, в этом или каком-нибудь будущем рождении, сами будем приняты в такой возвышеннейший орден философов, художников и святых, перед нами будет поставлена и новая цель для нашей любви и нашей ненависти, – а до тех пор у нас есть наша задача и наш круг обязанностей, наша ненависть и наша любовь. Ведь мы знаем, что такое культура. Она требует, если говорить о практическом применении к шопенгауэровскому человеку, чтобы мы подготавливали и ускоряли ее постоянное сотворение, знакомясь с тем, что ей враждебно, и убирая его с дороги, – короче говоря, чтобы мы неустанно боролись против всего, что лишает нас величайшего в нашем существовании осуществления, мешая нам самим сделаться такими шопенгауэровскими людьми.

6

Подчас бывает труднее принять какую-нибудь вещь, чем понять ее; именно так и случится, верно, с большинством людей, если они поразмыслят над тезисом: «Человечество должно неустанно работать для того, чтобы на свет появились отдельные великие люди, – это, и только это, составляет его задачу». Так и подмывает применить к обществу и его целям разъяснение, которое можно получить, рассмотрев каждый из видов в царствах животных и растений: самое важное для них – это только отдельные, наиболее совершенные экземпляры, наиболее необычные, сильные, сложные, плодовые, – да, так и подмывает, но привитые воспитанием фантастические представления о цели общества оказывают здесь упорное сопротивление! На самом деле нетрудно понять, что цель развития вида лежит там, где тот подходит к своему пределу и границе перехода в более высокоразвитый вид, но не в массе экземпляров и их благополучии, а не то и вовсе в экземплярах, наиболее запоздалых в истории его развития, – как раз наоборот, в тех будто бы разрозненных и случайных экземплярах, которые вдруг возникают там и сям при благоприятных ус-

ловиях; а ведь не более трудно понять, что человечеству, поскольку оно может осознать свою цель, надо нащупывать и устанавливать те благоприятные условия, при которых возможно возникновение великих, несущих спасение людей. Но что только не противится этому: то конечная цель человечества должна будто бы заключаться в счастье для всех или большинства, то ее следует искать в расцвете великих общностей; и насколько быстро человек решается пожертвовать свою жизнь, скажем, государству, настолько же он стал бы медлить и сомневаться, если бы этой жертвы потребовал от него индивид, а не государство. Звучит как бессмыслица, что один человек должен существовать ради какого-то другого человека; «Нет, нет, ради всех других – или по крайней мере ради как можно большего числа людей!» Ах, недалекая и честная твоя душа, как будто более осмысленно отдавать все дело на откуп числу, когда речь идет о ценности и смысле! Ведь вопрос-то гласит: как твоя жизнь, жизнь отдельного человека, может получить свою наивысшую ценность, свой глубочайший смысл? Как свести к минимуму ее напрасную растрату? Уж конечно, только благодаря тому, что ты будешь жить на пользу отборных и наиболее ценных экземпляров, а не на пользу большинства, то есть самых малоценных экземпляров, если брать каждый по отдельности. Именно такое умонастроение следовало бы насаждать и возделывать в юноше, чтобы он понял себя словно бы как неудавшееся творение природы, но в то же время и как свидетельство великолепнейших и чудеснейших замыслов этой художницы; на этот раз у нее вышло плохо, – скажет он себе, – но я отдам дань уважения ее великому замыслу, смиренно помогая ей, чтобы однажды это удалось ей лучше.

Питая такое намерение, он втянет себя в орбиту *культуры*; ведь она есть дитя самопознания каждого из людей и его неудовлетворенности собой. Всякий, кто присягает ей, тем самым свидетельствует: «Я понимаю, что надо мною есть нечто более высокое и человеческое, нежели я сам; все должны помогать мне достигать его, как и я берусь помогать всякому, кто понимает то же самое и страстно привержен тому же самому, – дабы в конце концов возник человек, чувствующий себя полным и бесконечным в познании и

любви, в созерцании и деятельности, и всем своим целостным существом любящий природу и преданный ей до глубины души как судья и мера всех вещей». Трудно ввести кого-нибудь в такое состояние неустрашимого самопознания, потому что нельзя научить любви: ведь лишь в любви душе открывается не только ясный, аналитический и презрительный взгляд на себя, но и страстное желание глядеть поверх себя и всеми силами искать свое еще скрытое где-то высшее «я». Значит, лишь тот, кто отдаст свое сердце какому-нибудь великому человеку, тем самым получит *первое посвящение в культуру*; ее признаки – стыд перед самим собой без досады, ненависть к собственной ограниченности и усушенности, сострадание гению, всякий раз заново выпрастывающему себя из этой нашей тупости и сухости, предчувствие, обращенное ко всем, кто формируется и борется, и глубочайшее осознанное желание почти везде идти навстречу природе в ее беде, когда она пробивается к человеку, когда она расстроена от очередной неудачи своего предприятия, когда ей все-таки везде удаются чудеснейшие начатки, черты и формы, так что люди, с которыми мы живем, выглядят как груда осколков на месте ценнейших ваятельских пробных работ, и эти осколки взывают к нам: придите, помогите, доведите до конца, соедините то, что должно быть вместе, – мы неимоверно тоскуем в желании стать целыми.

Эту сумму внутренних состояний я назвал первым посвящением в культуру; теперь же мне надлежит изобразить последствия *второго* посвящения, и я прекрасно понимаю, что тут моя задача куда сложнее. Ведь сейчас следует перейти от внутреннего процесса к оценке внешнего процесса, взгляд должен обратиться вовне, чтобы вновь обнаружить в большом оживленном мире ту жажду культуры, которая знакома ему по описанным выше первым опытам, а отдельный человек должен использовать свою борьбу и тоску как алфавит, с помощью которого сможет получить ясную картину стремлений других людей. Но и на этом ему останавливаться нельзя, с этой ступени он должен подняться на более высокую, культура требует от него не только внутреннего переживания, не только оценки текущего вокруг него потока внешнего мира, но в конечном счете и главным образом действия, то есть борьбы за культуру и вражды к им-

пульсам, привычкам, законам, установлениям, в которых он не признает своей цели, а именно возникновения гения.

Тому, кто сможет подняться на эту вторую ступень, первым делом бросится в глаза, *как чрезвычайно недостаточно и редко знание о названной цели*, но как зато общераспространенна суета вокруг культуры и как неописуемо огромны силы, которые тратятся на ее службе. Тогда с удивлением спрашиваешь себя: так, может, подобное знание и вообще излишне? Может, природа достигает своей цели и так, даже если люди в большинстве своем неправильно устанавливают цель своих усилий? Тому, кто привык высоко ставить бессознательную целесообразность природы, вероятно, не составит никакого труда ответить: «Ну да, так оно и есть! Пусть люди размышляют о ее конечной цели и говорят что хотят – все равно они прекрасно осознают свой праведный путь в ее темном влечении». Чтобы на это возразить, надо кое-что пережить; но кто по-настоящему убежден в том, что цель культуры – это содействие возникновению подлинных людей, и ничто иное, и вспомнит, что даже теперь, при всей роскоши и пышности культуры, возникновение таких людей мало чем отличается от постоянного истязания животных, тот поймет, насколько необходимо поставить когда-нибудь, наконец, на место этого самого «темного влечения» сознательную волю. В особенности это необходимо еще и по второй причине: чтобы стало невозможно использовать это не ведающее своей цели влечение, пресловутое темное влечение, для совсем иного рода целей и повести его путями, на которых уже никогда не будет достигнута названная высшая цель – возникновение гения. Есть ведь род культуры, *используемой в превратных целях и наемной* – стоит только поглядеть кругом! И как раз те силы, что сейчас энергичнее всего двигают культуру, лелеют при этом задние мысли и имеют с ней дело, находясь отнюдь не в чистом, бескорыстном умонастроении.

Это, во-первых, *эгоизм потребителя*, нуждающегося в поддержке культуры и в благодарности за это в свой черед оказывающего ей помощь, но при этом, разумеется, желающего предписывать ей цели и пределы. Отсюда берет свое начало то популярное положение и та логическая цепочка, которые гласят приблизительно следующее: как можно боль-

ше познания и образования, а потому как можно больше потребностей, а потому как можно больше производства, а потому как можно больше выгоды и счастья – так звучит эта соблазнительная формула. Образование определяется, видимо, его приверженцами как благоразумие, с помощью которого можно стать абсолютно современным в потребностях и их удовлетворении, ну а заодно, обладая им, можно наиболее эффективно распоряжаться всеми путями и способами быстрее всего добыть деньги. Таким образом, целью было бы – образовать как можно больше имеющих хождение людей (вроде того, как о монете говорят, что она имеет хождение); и народ, согласно этому воззрению, будет тем более счастливым, чем больше будет в нем таких имеющих хождение людей. Поэтому безусловным намерением современных образовательных учреждений должно быть следующее: помогать каждому настолько, насколько он по природе склонен делаться имеющим хождение, формировать каждого таким образом, чтобы от данной ему меры познания и знаний он получал наибольшее количество счастья и выгоды. Индивид, гласит выдвигаемое тут требование, с помощью такого всеобщего образования должен обрести способность точно расценивать себя, дабы знать, чего может требовать от жизни; и напоследок утверждается, что естественный и необходимый союз «интеллекта и собственности», «богатства и культуры» – существует, даже более того, что этот союз является *нравственной* необходимостью. Для этой точки зрения ненавистно любое образование, которое делает человека одиноким, которое ставит перед ним цели за пределами денег и заработка, которое отнимает много времени; такие более серьезные виды образования, разумеется, обычно подвергаются поношению как «утонченный эгоизм», как «безнравственное эпикурейство от образования». Разумеется, согласно принятой тут нравственности, в цене как раз прямо противоположное, а именно быстрое образование, нужное, чтобы быстро сделаться зарабатывающим деньги существом, но при этом образование настолько основательное, чтобы суметь сделаться существом, зарабатывающим очень много денег. Человеку позволяется иметь культуру лишь настолько, насколько это в интересах всеобщего дохода и международных сношений, но

именно столько от него и требуется. Короче говоря: «У человека есть необходимые притязания на земное счастье, а поэтому образование необходимо, но только поэтому!»

Во-вторых, это *эгоизм государства*, которое тоже жаждет как можно более широкого распространения и внедрения культуры и у которого есть самые действенные инструменты, чтобы добиться желаемого. Положим, оно чувствует себя достаточно сильным, чтобы не только раскрепощать, но в нужный момент и запрягать под тягло, положим, его фундамент надежен и достаточно широк, чтобы выдерживать всю куполообразную надстройку образования, – тогда распространение образования среди его граждан всегда будет идти на пользу только ему самому в его соревновании с другими государствами. Всюду, где нынче говорят о «культурном государстве», подразумевают, что перед ним поставлена задача раскрепостить духовные силы целого поколения настолько, чтобы благодаря этому они могли служить и приносить пользу существующим порядкам: но лишь в этих пределах, и не больше; так какую-нибудь лесную речку частично отводят с помощью запруд и шлюзов, чтобы уменьшить силу воды для работы мельницы, потому что полная сила для мельницы скорее опасна, чем полезна. В то же время такое раскрепощение – это в куда большей мере порабощение. Стоит лишь припомнить, чем мало-помалу сделалось христианство в условиях государственного эгоизма. Христианство, конечно, – одно из чистейших проявлений тяги к культуре, и как раз к все новому возникновению типа святого; но поскольку его постоянно использовали для вращения мельниц государственных учреждений власти, оно постепенно стало больным до мозга костей, насквозь ханжеским и лживым, и выродилось вплоть до полного противоречия своей изначальной цели. Даже последнее, что в нем свершилось, а именно немецкая Реформация, было бы не более чем внезапной вспышкой и угасанием, если бы она не похитила для себя новые силы и пламя из борьбы и пожара государств.

В-третьих, культуре содействуют все те, которые чувствуют себя *содержательно безобразными или скучными*, желая обмануть себя на этот счет с помощью так называемой «прекрасной формы». Надо принудить наблюдателя к ложному

выводу относительно своего внутреннего содержания, прибегая ко всему поверхностному – слову, жесту, украшениям, пышности, благовоспитанности: при этом молчаливо предполагается, что тот, как обычно и поступают люди, будет судить о человеке по одежке. Мне иногда кажется, что современные люди отчаянно скучают друг с другом и в конце концов ощущают потребность делаться интересными с помощью всевозможных искусств. Тогда они потчуют себя посредством своих художников, этой пикантной и вызывающей жжение пищи, тогда вдоволь поливают себя пряными приправами всего Востока и Запада, ну и, конечно, пахнут потом очень интересно, Востоком и Западом вместе взятыми. Тогда они настраивают себя так, чтобы потрафить любому вкусу; и обслужить надо каждого, тянет ли его на благоуханное или зловонное, на утонченное или мужицки-грубое, на греческое или на китайское, на трагедии или на драматизированные непристойности. Наиболее прославленных кухмейстеров для этих современных людей, любой ценою желающих быть интересными и заинтересованными, как известно, можно найти у французов, а самых скверных – у немцев. Для последних это, в сущности, более утешительно, чем для первых, и давайте меньше всего обижаться на французов, когда они издеваются над нами как раз из-за нехватки у нас интересного и изысканного и когда, замечая страстное желание некоторых отдельных немцев быть изысканными и воспитанными, вспоминают о том индейце, который хочет себе кольцо в носу, да еще требует, чтобы ему сделали татуировку.

– И тут уж ничто не удержит меня от отступления. Со времени последней войны с Францией в Германии многое изменилось и сдвинулось с мертвой точки, и понятно, что заодно на родную почву занесли в том числе некоторые новые пожелания в отношении немецкой культуры. Эта война для многих была первой поездкой в более изысканную половину мира; какое великолепное впечатление производит непринужденность победителя, когда он не пренебрегает усвоением у побежденного кое-чего из культуры! Художественное ремесло в особенности постоянно намекает на соперничество с более образованным соседом – обстановка немецких домов должна уподобиться французской;

даже немецкий язык, посредством созданной по французскому лекалу академии, должен усвоить «здоровый вкус» и избавиться от сомнительного влияния, которое оказал на него Гёте, как совсем недавно авторитетно высказался берлинский академик Дюбуа-Реймон. Наши театры уже давно тихо и чинно добиваются того же, изобретен даже тип изысканного немецкого ученого – и теперь уже вполне можно ожидать, что все до сих пор не пожелавшее подчиниться этому самому закону изысканности, немецкая музыка, трагедия и философия, отныне будет отметаться прочь как ненемецкое. – Да уж, ради немецкой культуры не стоило бы и пальцем шевельнуть, если бы под культурой, которой у немцев еще нет и которой сейчас им приходится жаждать, они понимали не что иное как искусства и любезности, которыми можно приукрасить жизнь, включая сюда все изобретения танцмейстеров и обойщиков, если бы и в языке они благоволили хлопотать лишь о правилах, одобренных академиком, и о некоторой общепринятой воспитанности. Однако, сдается, последняя война и возможность на опыте сравнить себя с французами так и не вызвали к жизни притязаний более высоких, скорее, напротив, меня часто охватывает подозрение, что немцам хотелось бы теперь насильно избавиться от тех старых обязанностей, которые налагает на них удивительная одаренность, характерные меланхоличность и глубокомыслие, присущие их натуре. Им больше по нраву фиглярничать, обезьянничать, усваивать манеры и искусства, которые делают жизнь занимательной. Но нет для немецкого духа большего оскорбления, чем считать его восковым – и думать, что в один прекрасный день к нему можно прилепить еще и изысканность. И хотя, увы, правда, что добрая часть немцев охотно дала бы себя лепить и формовать, все-таки надо возражать против этого так часто, пока не будет услышано: не обитает он уже среди вас, этот старый немецкий пошиб, который, конечно, жесток, суров и донельзя упрям, но зато служит ценнейшим материалом, работать с которым имеют право лишь величайшие художники, потому что только они достойны его. А вот то, что внутри вас, – это материал мягкотелый, подобный каше; делайте с ним что хотите, лепите из него изысканных кукол и интересных идолов – все и тут останется таким, как в сло-

вах Рихарда Вагнера: «Немец угловат и неуклюж, когда хочет казаться воспитанным; но уж если он воспламенится, то становится благородным и превосходит <в этом> всех». Остерегаться этого-то немецкого пламени и есть все основания у изысканных, иначе в один прекрасный день оно пожрет их вместе со всеми их восковыми куклами и идолами. – Конечно, можно было бы объяснить эту возобладавшую в Германии склонность к «прекрасной форме» еще и по-другому, и притом более глубоко: той спешкой, той задыхающейся ловлей мгновения, той бездумной торопливостью, что рвет все вещи с ветки зелеными, той гонкой и погоней, что оставляет теперь на лицах людей глубокие морщины и словно наносит татуировку на все, что они делают. Они, будто не в состоянии нормально вдохнуть под действием какого-то зелья, несутся сломя голову по своим беспрестанным хлопотам измученными рабами трех «м» – момента, мнений и моды: тут, конечно, в глаза уж очень неприятно бросается дефицит достоинства и пристойности, а тут уж, в свою очередь, требуется лживая изысканность, которой приходится прикрывать болезнь непристойной поспешности. Ведь модная жажда прекрасной формы связана с безобразным содержанием современного человека таким образом: первая должна прятать, последний должен быть спрятан. А быть образованным означает: не показывать вида, насколько человек жалок и плох, насколько хищны его желания, насколько он ненасытен в накопительстве, насколько эгоистичен и бесстыж в потреблении. Когда я демонстрировал кому-нибудь отсутствие у немцев культуры, мне уже не раз возражали: «Так ведь это отсутствие совершенно естественно, потому что немцы были до сих пор слишком бедными и нетребовательными. Сначала сделайте наших крестьян богатыми, дайте им чувство собственного достоинства, и у них тоже будет культура!» Какое бы блаженство ни внушала вера, *этот* род веры делает меня несчастным, поскольку я чувствую, что та немецкая культура, в будущее которой здесь верят – культура богатства, внешнего лоска и благовоспитанной симуляции, – это самый враждебный антипод той немецкой культуры, в которую верю я. Конечно, тот, кому приходится жить среди немцев, сильно страдает от пресловутой серости их жизни и

их чувств, от невоспитанности, тупоумия и затхлости, от пошлости в деликатных отношениях, а еще того больше – от зависти и некоторой скрытности и нечистоплотности их характера; его огорчает и оскорбляет пустившее в них корни наслаждение всем фальшивым и поддельным, неудачными имитациями, переводом хорошего иностранного на плохое родное: но теперь, когда еще большей бедой сюда добавились упомянутые лихорадочные метания, мания успеха и прибыли, завышенная оценка мгновения, предельное возмущение вызывает в нем мысль о том, что все эти болезни и слабости никогда не будут принципиально излечены, а будут только загрированы – именно такой вот «культурой интересной формы»! И это у народа, который породил *Шопенгауэра* и *Вагнера*! И который должен породить гениев все снова и снова! Или, может быть, мы обманываемся самым безутешным образом? Неужто вышеназванные гении больше не смогут ручаться за то, что в немецком духе, в немецкой душе действительно будут жить такие способности, какие есть у них? Неужто они сами – исключения, как бы последние отростки и отводки качеств, которые прежде считались немецкими? Ничего придумать я здесь больше не могу и потому возвращаюсь на дорогу своих общих рассуждений, с которой меня то и дело стремятся увести в сторону полные тревоги сомнения. Я перечислил еще не все силы, которые, правда, содействуют культуре, но при этом не признают ее цели – возникновение гения; я назвал три такие силы – эгоизм потребителя, эгоизм государства и эгоизм всех тех, у кого есть основания притворяться и прятаться за форму. В четвертую очередь я называю *эгоизм науки* и характерную сущность ее служителей, *ученых*.

Наука относится к мудрости, как добродетельность – к святости: она холодна и суха, она лишена любви и ничего не ведает о глубоком ощущении неудовлетворенности и тоски. Она полезна для самой себя ровно настолько, насколько вредна для своих служителей, поскольку переносит на них собственный характер, тем самым словно заставляя окостенеть их человечность. Покуда под культурой будут понимать преимущественно содействие науке, она будет проходить мимо великих страдающих людей с немилосерд-

ной холодностью, поскольку наука видит повсюду лишь проблемы познания и поскольку страдание в ее мире – это, по сути, нечто неприличное и несуразное, то есть самое большее – еще одна проблема.

Но если только человек приучает себя переводить каждый опыт в диалектическую игру вопросов и ответов, в дело чисто умственное, то удивительно, за сколь короткое время он сохнет от такой деятельности, как быстро чуть ли не начинает греметь костями. Каждый это видит и понимает: так как же тогда получается, что, несмотря на это, молодые люди отнюдь не отшатываются в ужасе от таких скелетов в человеческом облике, а всё снова и снова, слепо, без разбора и без меры, предаются наукам? Не может же это идти от мнимого «влечения к истине»: ведь как вообще может существовать какое-то влечение после холодного, чистого, ни к чему не обязывающего познания! Для непредвзятого взгляда уж слишком очевидно, каковы подлинные движущие силы, действующие в служителях науки: и настоятельно рекомендуется когда-нибудь обследовать и анатомировать ученых – ведь они уже и сами привыкли бесцеремонно ощупывать и разлагать все на свете, даже самое достойное почтения. Чтобы высказать начистоту, что я об этом думаю, то мой тезис гласит: ученый состоит из запутанного переплетения очень разных мотивов и стимулов, он представляет собой сплошь нечистый металл. Первым делом стоит обратить внимание на сильную и постоянно растущую любознательность, маниакальную страсть к приключениям познания, беспрерывно подстрекающую властную силу всего нового и редкого в противоположность старому и набившему оскомину. Добавим сюда некоторый диалектический инстинкт вынюхиванья и игры, охотничий азарт находить хитроумные лисьи норы мышления, так что предметом поиска становится не истина, а сам поиск, и главное наслаждение заключается в лукавых обходных путях, осадах и умерщвлении по всем правилам искусства. К сему присовокупим еще страсть противоречить – личность хочет, вопреки всем остальным, чувствовать себя самостоятельной и давать чувствовать это же другим; противоборство становится удовольствием, а целью – личная победа, в то время как борьба за истину – только предлог. Далее, к ученому примешана

еще добрая доля влечения находить *известные* «истины» – он делает это из верноподданнических чувств к известным властвующим личностям, кастам, мнениям, церквям, правительством, потому что ощущает свою полезность, привлекая «истину» на их сторону. Не так закономерно, но все же довольно часто в ученом встречаются следующие качества. Во-первых, простодушие и вкус ко всему простому, высоко ценимые, если представляют собой что-то большее, чем негибкость и неумелость в деле притворства, ведь для него требуется некоторая живость ума. Да и впрямь, всюду, где в глаза так и бросается живость ума и ловкость, нужно проявлять чуточку осторожности и сомневаться в прямоте характера. С другой стороны, такое простодушие почти всегда мало чего стоит, да и в науке редко дает плоды, поскольку любит все привычное и бывает правдивым обычно только в простых вещах или *in adiaphoris*¹; ведь здесь говорить правду, а не умалчивать ее, больше соответствует косности. А поскольку все новое требует переучивания, то простодушие, если уж оно проявляется, почитает старое мнение и упрекает провозвестников нового в том, что у них отсутствует *sensus recti*². Как известно, простодушие восстало против учения Коперника потому, что тут на его, простодушия, стороне были очевидность и привычка. Отнюдь не редкая у ученых ненависть к философии – это главным образом ненависть к длинным цепочкам выводов и искусственности доказательств. Мало того, каждому поколению ученых, в сущности, свойственна произвольная мера *разрешенной* пронизательности; то, что выходит за ее пределы, подвергается сомнению и используется чуть ли не как основание для подозрений в адрес простодушия. – Во-вторых, острота зрения для близкого, связанная с большой близорукостью для далекого и всеобщего. Поле зрения ученого обычно очень узко, и глаза ему приходится держать прямо рядом с предметом. Если ученый хочет перейти от одного только что исследованного пункта к другому, то сдвигает к этому последнему весь свой зрительный аппарат. Он разлагает картину на отдельные кусочки, подобно зрителю,

1 В безразличных (не важных) вещах (*лат., греч.*).

2 Чувство справедливости (*лат.*).

который пользуется театральным биноклем, чтобы глядеть на сцену, и видит то голову, то часть одежды, но ни одна целая фигура его глазам недоступна. Ученый никогда не видит связи между этими отдельными кусочками, а лишь делает выводы о такой связи; поэтому у него нет внятного представления обо всем всеобщем. К примеру, он судит о каком-нибудь трактате по некоторым местам, положениям или ошибкам, потому что не может составить для себя его целостную картину; он недалек от искушения утверждать, что картина маслом – это несуразная куча цветных пятен. – В-третьих, будничность и заурядность его натуры в симпатиях и антипатиях. Это качество приносит ему удачу особенно в истории, поскольку он выслеживает мотивы людей прошлого на основании известных ему мотивов. В кротовой норе лучше всех разбирается крот. Он предохранен от всех искусственных и чрезмерно смелых гипотез; упорно работая, он выкапывает все будничные мотивы прошлого, потому что чувствует себя с ними на одной доске. Разумеется, именно поэтому он, как правило, не способен понять и оценить все редкостное, великое и необычное, то есть важное и существенное. – В-четвертых, эмоциональная скудность и сухость. Она сообщает ему даже способность к вивисекции. Он не имеет понятия о страдании, а ведь оно несет с собой много знания, и потому не испытывает страха в сферах, где у других душа уходит в пятки. Он холоден, и потому его легко принять за жестокого. Его считают и отважным, но он отважен не больше, чем мул, не знающий головокружения на горных тропах. – В-пятых, невысокая самооценка, даже скромность. Ученые, даже если их загнать в какую-нибудь жалкую дыру, не ощутят ни самоотречения, ни отчаянной дерзости, и часто так и кажется, что в самой глубине души они знают о себе: мы рождены не летать, а ползать. Это качество делает их даже где-то трогательными. – В-шестых, их преданность своим учителям и вождям. Им они от всей души стремятся помочь и хорошо знают, что те наилучшим образом помогут им в поисках истины. Ведь они преисполнены благодарности, поскольку получили доступ в почтенные залы науки лишь благодаря им, а своими силами ни за что туда не проникли бы. Кто в наше время умеет преподавать какую-нибудь область знаний, где с кое-

каким успехом могут работать и скромные умы, тот очень быстро становится знаменитостью, такое огромное собрание людей тотчас начинает стекаться к его кафедре. Конечно, каждый подобный преданный и благодарный ученик – в то же время и сущее несчастье для наставника, ведь все они ему подражают, и несоразмерно большими и преувеличенными кажутся как раз его изъязны, потому что бросаются в глаза у столь мелких индивидов, в то время как доблести учителя, наоборот, представлены в тех же индивидах уменьшенными в той же самой пропорции. – В-седьмых, вызванное инерцией привычки движение по пути, на который ученого толкнули, машинальная приверженность истине в соответствии с однажды усвоенной привычкой. Такие натуры – собиратели, толкователи, составители указателей, гербариев; они изучают и обыскивают какую-то одну область просто потому, что никогда не думают о существовании и других областей. Их прилежание чем-то напоминает чудовищную глупость силы тяготения: поэтому часто бывает видно, что они перестарались. – В-восьмых, бегство от скуки. Если для настоящего мыслителя нет ничего более желанного, чем праздность, то обыкновенный ученый ее избегает, потому что не знает, что с ней делать. Его утешение – книги: иными словами, он слушает, как кто-то мыслит другое, и день-деньской развлекает себя подобным образом. Особенно он любит книги, чтение которых как-то побуждает его выразить свое личное отношение, где симпатия и антипатия могут немного погрузить его в аффект, то есть книги, в которых подвергаются рассмотрению он сам или его сословие, его политическая, эстетическая или хотя бы только грамматическая доктрина; а уж если речь там идет и вовсе о его собственной науке, то у него не будет недостатка в развлечениях и мухобойках против скуки. – В-девятых, мотив выгодного дела, то есть, по сути, знаменитого «*vorborgmen*¹ страждущего желудка». Служить истине стоит, если она в состоянии прямо продвигать в окладах и высоких должностях – или по крайней мере способна снизить благосклонность тех, которые могут наделить заработком и почетом. Но служить стоит только *этой* истине:

1 Урчания в животе (*греч.*).

поэтому столь подвижна граница между истинами выгодными, которым служат многие, и невыгодными, а им предаются лишь очень немногие, для которых ничего не значит изречение: *ingenii largitor venter*¹. – В-десятых, почтение к коллегам, страх перед неуважением с их стороны – мотив более редкий, чем предыдущий, но более высокий; он, правда, встречается все еще очень часто. Все члены цеха самым ревнивым образом контролируют друг друга, дабы истина, от которой столь многое зависит – заработок, чины, почет, – была крещена именем своего настоящего открывателя. Ученые неукоснительно отдают дань уважения другим за найденную теми истину, чтобы требовать такой же дани от них и себе, если им и самим посчастливится найти какую-нибудь истину. Ложь, ошибку с грохотом подрывают, дабы ограничить численность конкурентов; но там и сям иногда подрывают и настоящую истину, чтобы хоть ненадолго оставить место для упрямых и наглых заблуждений; ведь, как и повсюду, так и здесь нет недостатка в «моральном идиотизме», который по-другому называют плутовством. – В-одиннадцатых, тип ученого из тщеславия, разновидность уже более редкая. Он стремится по возможности заполучить какую-нибудь область науки для себя одного и потому останавливает свой выбор на странных, необычных вещах, в особенности если их исследование требует чрезвычайных расходов, путешествий, раскопок, многочисленных связей в различных странах. Как правило, он довольствуется честью самому вызывать изумление в качестве чего-то необычайного и не думает о том, чтобы получать свой хлеб посредством ученых штудий. – В-двенадцатых, тип ученого из страсти к игре. Он забавен, потому что ищет и развязывает в науках узелки; при этом ему не нравится напрягаться очень уж сильно, чтобы не утратить ощущения игры. Поэтому он забирается не слишком-то глубоко, но нередко ухватывает то, чего ученому ради куска хлеба с его мучительно ползающим взглядом не усмотреть никогда. – Если, наконец, в-тринадцатых, в качестве мотива, движущего учеными, я назову еще влечение к справедливости, то мне можно будет возразить так: это благородное влечение, которое

1 Желудок (голод) – покровитель (двигатель) таланта (*лат.*).

надо понимать, скорее, уже метафизически, очень трудно отделить от других мотивов, и потому они, по сути, неразличимы и неопределимы для человеческого глаза; вот почему я добавляю последний номер с благим пожеланием – пусть это влечение встречается среди ученых почаще и будет более действенным, чем мы наблюдаем теперь. Ведь одной искры от пламени справедливости, запавшей в душу ученого, достаточно, чтобы воспламенить его жизнь и чаяния и очистительно испепелить их: тогда он забудет о покое и навсегда бросит теплоту или ледяной холод души, с которыми обычные ученые тянут свою лямку.

Теперь нужно представить себе, что все эти элементы, или многие из них, или отдельные, сильно перемешаны и перепутаны: вот мы и пойдем, откуда берется служитель истины. Чрезвычайно странно видеть, как здесь, на пользу занятия, в сущности, внечеловеческого и сверхчеловеческого – чистого и ни к чему не обязывающего, а потому и безучастного познания, слито воедино множество мелких, очень человеческих влечений и влеченьиц, чтобы возникло одно химическое соединение, и как результат, то есть ученый, выглядит в свете этого неземного, возвышенного и исключительно чистого занятия столь просветленным, что совершенно забываешь о смешении и слиянии, необходимых для его возникновения. Но бывают мгновения, когда приходится думать и вспоминать именно об этом: а именно, как раз тогда, когда ученого нужно принять в расчет в его значении для культуры. Ведь тот, кто умеет наблюдать, заметит, что ученый по своей природе *неплодовит* – следствие обстоятельств его возникновения! – и что он некоторым естественным образом ненавидит людей плодовых; по этой-то причине гении и ученые во все времена враждовали друг с другом. Ведь последним надо умертвить, разложить и понять природу, а первые стремятся обогатить природу новой живой природой; поэтому существует столкновение умонастроений и направлений деятельности. Эпохи вполне блаженные в ученом не нуждались и не знали его, эпохи совершенно больные и удрученные ценили его как высший и наиболее ценный тип человека, присуждая ему первый ранг.

Да разве кто-нибудь в достаточной степени владеет врачебным искусством, чтобы понять, как обстоит дело с

нашей эпохой в отношении здоровья и болезни! Несомненно, даже сегодня оценка ученых в очень многих делах слишком высока и потому оказывает пагубное воздействие, особенно во всех потребностях развивающегося гения. Ученый не обращает глубокого внимания на его настоятельные нужды, он учит резким холодным голосом, глядя поверх его головы, и слишком уж скоро пожимает плечами, как бы по поводу чего-то чудного и вздорного, на что у нет ни времени, ни охоты. И у него не найти знания о цели культуры. –

Так что же все-таки нам уяснилось в результате всех этих размышлений? Что всюду, где теперь, как кажется, энергичнейшим образом содействуют культуре, об этой цели ничего не известно. Как бы громко ни выставляло вперед государство свои заслуги в области культуры, оно помогает ей, чтобы помочь себе, и не понимает цели, более высокой, нежели его благополучие и существование. То, чего хотят потребители, неотступно желая занятий и образования, – это в конечном счете как раз потребление. Когда люди, жаждущие формы, приписывают себе подлинный труд на благо культуры и, к примеру, мнят, будто все искусство принадлежит им и обязано обслуживать их потребности, то ясно только одно – что, приветствуя культуру, они приветствуют себя и что, стало быть, они тоже так и не выбрались из непонимания. О типе ученого сказано уже достаточно. Итак, насколько истово все четыре силы размышляют совместно о том, как с помощью культуры принести пользу *себе*, настолько же они бессильны и бездумны, когда их интерес тут не затронут. А потому условия для возникновения гения в новейшее время *не улучшились*, и отвращение к самобытным людям возросло до такой степени, что Сократ у нас прожил бы недолго и уж во всяком случае не дотянул бы до семидесяти.

Тут я вспомнил о том, что заявил в третьей главе: весь наш современный мир выглядит вовсе не таким уж прочным и долговечным, чтобы предрекать вечное существование и понятию его культуры. Следует даже считать вероятным, что следующее тысячелетие придет к нескольким новым идеям, от которых волосы на голове у всякого ныне живущего какое-то время стояли бы дыбом. *Вера в метафизический смысл культуры* была бы, в конце концов, вовсе не

столь уж и пугающей: пугающими оказались бы разве что некоторые выводы, которые можно извлечь из нее для педагогики и школьного образования.

Чтобы, глядя поверх нынешних образовательных учреждений, увидеть когда-нибудь институции абсолютно иной природы, которые посчитает необходимыми для себя, возможно, уже второе или третье поколение, потребуется, правда, совершенно незаурядная вдумчивость. Ведь если усилия нынешних педагогов высшего образовательного уровня приводят к возникновению либо ученого, либо чиновника, либо потребителя, либо образованного мещанина, либо, наконец и как обычно, чего-то среднего, то у тех учреждений, которые еще только предстоит изобрести, задача будет, конечно, более сложной – хотя более сложной она будет не сама по себе, потому что это будет задача, во всяком случае, более естественная и в этом смысле более легкая; да и может ли быть, к примеру, что-то более сложное, чем вопреки природе дрессировкой превратить юношу в ученого, как это происходит сейчас? Подлинная же сложность заключается для людей в том, чтобы переучиться и поставить себе новую цель; и будет стоить неслыханных усилий заменить какой-то новой основной идеей основную идею нашей нынешней педагогики, укорененной в эпохе средневековья, педагогики, которой в качестве цели законченного образования предносится, собственно говоря, тип средневекового ученого. Уже сейчас самое время обратить внимание на эти антагонизмы; ведь какому-то поколению все равно придется начать борьбу, победа в которой достанется одному из следующих. Уже сейчас индивид, понявший эту новую основную идею культуры, оказывается у распутья; на одной из дорог его будет радушно приветствовать эпоха, и уж она отблагодарит его венками и наградами, его будут поддерживать могущественные партии, за его спиной соберется столько же единомышленников, сколько будет стоять перед ним, и когда впереди идущий выкрикнет лозунг, его подхватят во всех рядах. Тут первейший долг гласит: «Биться в сомкнутом строю», второй – считать врагом всякого, кто не хочет стать в строй. Вторая дорога сведет его с редкими спутниками, она более трудна, извилиста, крута; те, что идут по первой, глумятся над ним, потому что

шаги его там мучительно-тяжки и он то и дело попадает в опасность, а они пытаются переманить его к себе. Если две дороги вдруг пересекаются, то его истязают, выбрасывают вон или изолируют, вынуждая робко тащиться по обочине. Что же для этих столь различных путников на двух дорогах означает такая институция, как культура? Та чудовищная орава, что прет к своей цели по первой дороге, понимает под ней организации и законы, посредством которых приводится в порядок и идет вперед она сама и благодаря которым объявляются вне закона все строптивые и одинокие, все, кто высматривает цели более высокие и отдаленные. Для этой другой, меньшей кучки людей такая институция должна была бы иметь, конечно, совсем другой смысл; она сама, находясь в бастионе крепкой организации, стремится не допустить, чтобы ее смыла и разметала та, первая орава, чтобы ее отдельные представители не сгнули из-за преждевременного истощения, а то и вовсе не были отбиты от своей великой задачи. Эти отдельные представители должны завершить свое дело – таков смысл их сплоченности; и все участвующие в институции культуры должны прилагать усилия, чтобы беспрестанным облагораживанием и взаимной заботой подготавливать в себе и вокруг себя рождение гения и вызревание его творчества. Немалое их число, в том числе из ряда дарований второго и третьего ранга, предрасположены к такому содействию, и лишь подчиняясь этой предрасположенности, они приходят к ощущению, что жить надо ради долга, и жить с целью и смыслом. Но в наши дни соблазнительные голоса модной «культуры» сбивают с пути как раз этих даровитых людей, отдаляя их от инстинкта; это искушение нацелено на их эгоистические поползновения, на их слабости и тщеславные помыслы, и дух времени именно им нашептывает с заискивающей настойчивостью: «Следуйте за мной, не ходите туда! Ведь там вы – всего лишь прислужники, подручные, орудия, на которые падает свет от натур более возвышенных, ваша самобытность там не будет вам в радость, вас тянут там за ниточки, вы скованы цепями, словно рабы, даже автоматы: а здесь, у меня, вы сполна насладитесь своей свободной личностью как господа, ваши таланты смогут заблистать собственным светом, вы сами должны стоять в переднем ряду, вокруг вас будет

роиться огромная свита, и одобрительные возгласы общественного мнения наверняка порадуют вас куда больше, чем аристократическое, дарованное свыше одобрение, идущее откуда-то из холодных эфирных высей гения». Таким соблазнам подвергаются, пожалуй, лучшие: и, в сущности, выбор здесь определяет не редкость и сила дарования, а влияние некоторого глубинного героического настроения и степень внутреннего родства и неразрывной связи с гением. Ведь *существуют* люди, которые переживают как *свою* собственную беду, когда видят, как гений тяжело борется, оказываясь на грани саморазрушения, или когда его творения равнодушно отодвигают в сторону близорукий эгоизм государства, пошлость потребителя, сухое самодовольство ученого: но я все же надеюсь, что найдутся немногие люди, которые поймут, что я хочу сказать, приводя здесь в качестве примера судьбу Шопенгауэра, и кого, по моим представлениям, Шопенгауэр как воспитатель должен *воспитывать* на самом деле.

7

Чтобы уж оставить в стороне все мысли об отдаленном будущем и возможном перевороте в педагогике, то чего надо пожелать *в настоящее время* развивающемуся философу и, если потребуется, сделать так, чтобы он вообще мог перевести дух и в самом благоприятном случае достичь жизни по образцу Шопенгауэра, конечно, нелегкой, но по крайней мере возможной? Что, кроме того, нужно придумать, чтобы его воздействие на современников оказалось более реальным? И какие препятствия должны быть устранены, чтобы, прежде всего, его пример стал полностью действенным, чтобы философ воспитывал новых философов? Здесь наше рассмотрение переходит в плоскость практическую и чреватую возмущениями.

Природа всегда стремится быть общепольной, но не умеет находить наилучшие и наиболее пригодные средства и возможности для достижения этой цели: это ее великая беда, в этом причина ее меланхолии. Понятно, что, при своем страстном порыве к освобождению, она, производя на

свет философа и художника, хотела сделать существование объяснимым и осмысленным для людей; но насколько же непонятно, насколько же слабо и вяло то воздействие, которого она почти всегда достигает с помощью философа и художника! Как редко она вообще доводит дело до воздействия! Ее растерянность в том, что касается общепользнего применения философа, особенно велика; ее средства кажутся всего лишь слепыми попытками, случайными затеями, и ее замысел терпит крах несчетное число раз – по большей части философы не становятся общепользными. Метод природы выглядит как расточительство; но это расточительство идет не от дерзкой избалованности, а от неопытности; надо думать, что если бы она была человеком, то никогда не переставала бы злиться на себя и свою неловкость. Природа посылает в человека философа, словно стрелу, она не прицеливается, а просто надеется, что эта стрела куда-нибудь да попадет и останется. Но в этом она раз за разом ошибается и потому злится. В сфере культуры она действует с тем же расточительством, что и там, где речь идет о растении и посеве. Она добивается своего, не глядя на частности и потому неуклюже, а, значит, тратит на это чересчур много сил. Художник, с одной стороны, и знатоки, ценители его искусства – с другой, относятся друг к другу, как мощное орудие и стайка воробьев. Только большая наивность может спустить большую лавину, чтобы сбить с места горстку снега, или убить человека, чтобы прихлопнуть муху у него на носу. Художник и философ – это доводы против целесообразности природы и ее средств, хотя они же – превосходнейший довод в пользу мудрости ее замыслов. Они попадают лишь в немногих, а должны попадать во всех, – да и эти немногие не бывают поражены с той же силой, с какой философ и художник посылают свой снаряд. Печально, что приходится столь различно судить об искусстве как причине и искусстве как следствии-воздействии: как невероятно сильно оно в качестве причины и как расслабленно, как, словно отзвук, еле внятно, когда воздействует! Художник делает свое дело по воле природы и на благо других людей, в этом нет никаких сомнений: и несмотря на это, он знает, что ни один из этих других людей никогда не поймет и не полюбит его творение так, как он сам понимает и любит его.

Значит, эта высокая и единственная ступень любви и понимания необходима, согласно неуклюжему распоряжению природы, чтобы возникла ступень более низкая; великое и благородное применяется как средство для возникновения низкого и неблагородного. Природа ведет свое хозяйство нерасчетливо, ее расходы куда больше доходов, на которые она зарится; при всем ее богатстве ей когда-нибудь придется разориться. Куда разумнее она управилась бы, если бы ее экономическое правило гласило: мало тратить, но получать сторицей, как, скажем, было бы, если бы существовало очень немного художников, да еще не слишком больших дарований, но зато в изобилии воспринимающих и зачинающих, причем эти последние – из породы более крепкой и мощной, чем порода самого художника; тогда воздействие произведения искусства относилось бы к его причине, как стократно усиленное эхо. Следовало бы по крайней мере рассчитывать на то, что причина и следствие будут равны по силе; но как далеко отстает природа от такого расчета! Нередко так и кажется, что художник, а уж тем более философ оказался в своей эпохе *случайно*, что он там – отшельник или отбившийся от своих и оставшийся позади скиталец. Стоит хотя бы до глубины души прочувствовать, насколько велик, велик везде и во всем Шопенгауэр – и насколько же мало, насколько абсурдно мало его воздействие! И как раз для честного человека этой эпохи нет ничего более постыдного, чем осознавать, каким случайным выглядит в ней Шопенгауэр, какие силы и бессилия приложили руку к тому, что его воздействие было настолько загублено. Сначала и долгое время спустя его раздражала нехватка читателей, и он постоянно издевался над нашей литературной эпохой, потом, когда читатели появились, – несообразность ему его первых публичных свидетелей: но, конечно, еще больше, как мне кажется, апатичность всех современных людей по отношению к книгам, которые они вообще больше не желают воспринимать всерьез; мало-помалу появлялась и новая опасность, возникшая из-за многочисленных попыток приспособить Шопенгауэра к хилой эпохе, а то и вовсе растереть его, как поразительную и возбуждающую приправу, словно своего рода метафизический перец. Таким-то образом он, правда, постепенно сделался

известным и прославился, и, думаю, его имя сейчас знакомо уже большему числу людей, чем имя Гегеля: тем не менее он все еще отшельник, тем не менее его воздействие до сей поры так и не началось! Настоящие литературные противники и хулители доселе менее всего имели честь противодействовать этому воздействию, во-первых, потому что найдется немного людей, которые смогли бы дочитать их до конца, а во-вторых, потому что, уж если кто-то их и дочитает, то прямоком придет к Шопенгауэру; да разве погонщик осла сможет помешать человеку сесть на прекрасную лошадь, как ни расхваливай он своего осла в ущерб лошади?

Так вот, кто распознал глупость в природе этой эпохи, тому надо искать способы хоть немного выправить положение; задачей же его будет – познакомить с Шопенгауэром свободные умы и тех, кто глубоко уязвлен нашей эпохой, собрать их вместе и тем самым создать течение, силой которого можно преодолеть ту неуклюжесть, что обыкновенно, и в наши дни в очередной раз, природа демонстрирует в использовании философа. Такие люди придут к осознанию того, что одни и те же агенты противодействия препятствуют воздействию великой философии и стоят на пути возникновения великих философов; поэтому они смогут увидеть свою цель в подготовке нового возникновения Шопенгауэра, то есть гения философии. Но то, что с самого начала противилось воздействию и распространению его учения, то, что в конечном счете всеми средствами стремится сорвать и это новое рождение философа, – это, коротко говоря, испорченность нынешней человеческой природы; поэтому всем начинающим свой путь великим людям приходится тратить невероятные силы, чтобы прорваться сквозь эту испорченность хотя бы самим. Мир, в который они вступают, окутан пеленой вранья; это на самом деле не обязательно одни религиозные догмы, но и такие морочащие голову понятия, как «прогресс», «всеобщее образование», «национальный», «современное государство», «битва за культуру»; мало того, можно сказать, что все слова с отвлеченным значением носят сейчас поддельный и неестественный наряд, почему более просвещенные потомки и будут откровенно упрекать нашу эпоху в извращенности и уродстве – как бы

громко мы ни чванились нашим «здоровьем». Красота античных сосудов, говорит Шопенгауэр, происходит от того, что они совершенно непосредственно выражают, чем призваны быть и для какой цели созданы; то же относится и ко всей остальной утвари древних; зритель чувствует, что так выглядели бы вазы, амфоры, светильники, столы, стулья, шлемы, щиты, панцири и тому подобное, если бы их сотворила природа. И наоборот: кто поглядит на то, как чуть ли не каждый обращается с искусством, государством, религией, образованием – чтобы из соображений приличия умолчать о наших «сосудах», – тот обнаружит, что люди проявляют себя с известным варварским самоволием и чрезмерностью, и начинающему гению больше всего бывает помехой как раз то, что в его эпоху в ходу такие странные представления и такие причудливые потребности: они очень часто, внезапно и необъяснимо, дают свинцовым грузом, заставляющим его опустить руки, которые собираются вести плуг, – да так, что даже его величайшие творения, взмывая вверх с властной силой, тоже в некоторой степени вынуждены нести на себе печать этой насильственности.

И вот, когда в уме я собираю воедино условия, опираясь на которые – в самом удачном случае – прирожденный философ по крайней мере избегает подавления со стороны обрисованной современной испорченности, то замечаю нечто странное: это отчасти как раз те условия, при которых, хотя бы в общем и целом, вырос сам Шопенгауэр. Правда, не было недостатка в условиях обратного действия: к примеру, испорченность эпохи оказалась ужасающе близко к нему в лице его тщеславной и эстетствующей матери. Но гордый и республикански-вольный характер отца словно спасал его от матери, дав ему первое, в чем нуждается философ, – несгибаемое и суровое мужество. Этот отец не был ни чиновником, ни ученым: он много путешествовал с юношей по чужим краям – и каждый раз это было чистейшим благодеянием для того, кому нужно было узнать не книги, а людей, и научиться чтить не правительство, а истину. Временами он становился то менее восприимчивым к национальной ограниченности разных народов, то чересчур восприимчивым; в Англии, Франции и Италии он жил, как на своей родине, и немалую симпатию испытывал к духу Испа-

нии. В целом он не почитал для себя за честь, что родился именно среди немцев; и я даже не знаю, рассудил ли бы он иначе в новых политических условиях. Как известно, единственной целью государства он считал защиту от внешних угроз, защиту от внутренних угроз и защиту от самих защитников, – а если приписать ему какие-нибудь иные цели, кроме защиты, то истинная цель легко могла бы оказаться под угрозой: поэтому он, к ужасу всех так называемых либералов, завещал все свое состояние семьям тех прусских солдат, которые пали в 1848 году, защищая порядок. Если кто-то умеет воспринимать государство и его обязанности просто, то отныне это все больше будет признаком умственного превосходства; ведь у того, кому свойствен *furog philosophicus*¹, уже не найдется времени на *furog politicus*², и он станет благоразумно остерегаться каждый день читать газеты, а то и вовсе сотрудничать с какой-нибудь партией: правда, если отечеству будет грозить настоящая беда, он без раздумий займет свое место. Все государства, в которых о политике приходится хлопотать кому-нибудь, кроме государственных деятелей, устроены плохо, и они заслуживают того, чтобы погибнуть от такого избытка политиков.

Другое великое благодеяние выпало на долю Шопенгауэра благодаря тому, что его не прочили в ученые заранее и не воспитывали в этом духе: некоторое время он, хотя и сопротивляясь, по-настоящему проработал в купеческой конторе и во всяком случае всю свою юность дышал более вольным воздухом большого торгового дома. Ученому философом никогда не бывать; это не удалось даже Канту, который, несмотря на природный напор своего гения, до конца оставался в состоянии как бы окукленности. А если кто-то думает, что эти мои слова о Канте несправедливы, то он не знает, что такое философ, – ведь это не только великий мыслитель, но и настоящий человек; а разве когда-нибудь из ученых получались настоящие люди? Кто допускает между собой и вещами понятия, мнения, то, что уже исчезло, книги, кто, стало быть, в самом широком смысле слова рожден для исторического исследования, тому никогда не уви-

1 Пламенную страсть к философии (лат.).

2 Пламенную страсть к политике (лат.).

деть вещи впервые, да и самому никогда не стать такой вот увиденной впервые вещью; а у философа то и другое составляет одно целое, ведь большую часть разъяснений ему приходится получать от себя самого, и он служит для себя самого отображением и аббревиатурой целого мира. Если кто-то глядит на себя через призму чужих мнений, то не удивительно, что и в себе он не увидит ничего, кроме чужих мнений! А ведь именно таковы, так живут и так видят ученые. На долю же Шопенгауэра выпала неопиcуемая удача видеть гений в упор не только в себе, но и вне себя, в Гёте: благодаря такому двойному взгляду в зеркало он получил полное представление обо всех объектах ученого интереса и культурах и научился относиться к ним с мудростью. На основе этого опыта он узнал, каким должен быть свободный и сильный человек, к которому льнет всякая художественно ориентированная культура; и разве в такой перспективе ему еще могли доставлять удовольствие занятия так называемым «искусством» в ученой или лицемерной манере современного человека? Ведь он лицезрел даже нечто более высокое: ужасную потустороннюю сцену Суда, на котором все живое, в том числе и наиболее развитое и совершенное, положено на весы и признано слишком легким, – он лицезрел фигуру святого как судьбы над существованием. Никак невозможно определить, насколько рано Шопенгауэр узрел этот образ жизни, и притом именно таким, каким позднее пытался воспроизводить его во всех своих сочинениях; но можно показать, что это невероятное видение он испытал, будучи юношей и, хотелось бы верить, уже мальчиком. Все, что позже он усвоил из жизни и книг, из всех областей науки, стало для него чуть ли не всего лишь краской и средством выражения; даже кантовскую философию он привлекал прежде всего в качестве мощнейшего риторического инструмента, с помощью которого надеялся высказать этот образ в словах еще более ясно: а той же самой цели служила для него подчас и буддийская и христианская мифология. Для него существовала лишь одна задача и сто тысяч способов ее решить: одно значение и бесчисленные иероглифы для его выражения.

Одним из прекрасных условий его существования было то, что он и впрямь мог жить для такой задачи в соответствии

со своим лозунгом *vitam impendere vero*¹, и что на него не давили никакие нештучные нужды низкой жизни: известно, как великолепно он отблагодарил своего отца именно за это – в то время как в Германии человек, занятый теоретическими изысканиями, реализует свою научную задачу почти всегда за счет чистоты своего характера, становясь «вежливым негодяем», помогающим должностям и почестям, осмортельным и изворотливым, лстящим всему влиятельному и начальствующему. Шопенгауэр, увы, ничем не оскорбил многочисленных ученых больше, чем своим с ними несходством.

8

Итак, названы некоторые условия, при которых в нашу эпоху, несмотря на пагубные препятствия, философский гений может хотя бы возникнуть: вольная мужественность характера, знание людей с малых лет, отсутствие ученого воспитания, патриотической ограниченности, принуждения к добыче хлеба, связи с государством – короче говоря, свобода и еще раз свобода, та самая чудесная и опасная стихия, в которой имели возможность расти греческие философы. Если кому-то захочется упрекнуть его в том, в чем Нибур упрекал Платона – что тот был плохим гражданином, – то пусть он сам это сделает, пусть будет хорошим гражданином: тогда он будет прав, и Платон вместе с ним. Кто-нибудь другой истолкует эту великую свободу как зазнайство: он тоже будет прав, потому что сам-то он ничего толкового с такой свободой сделать не может и, безусловно, проявил бы большое зазнайство, если бы жаждал ее для себя. Та свобода – и впрямь тяжкая вина; а искупить ее можно лишь великими делами. Любому обычному смертному позволительно глядеть на такого счастливчика с неприязнью: только пусть уж какой-нибудь бог уберезет его от того, чтобы самому сделаться счастливчиком на такой лад, иными словами, чтобы связать себя такими страшными обязательствами. Ведь свобода и одиночество тотчас его погубят, и он делается дураком, злобным дураком от скуки. –

¹ за правду пожертвовать жизнью (*лат.*).

Возможно, тот или иной отец научится чему-нибудь из сказанного и сможет найти ему какое-нибудь практическое применение в деле частного воспитания своего сына; правда, в действительности нельзя ожидать, что отцы захотят иметь в сыновьях только философов. Вероятно, отцы во все времена будут почти всегда против философствования своих сыновей как величайшей испорченности; Сократ, как известно, пал жертвой гнева отцов по поводу «соращения молодежи», а Платон на точно таких же основаниях считал необходимым построение совершенно нового государства, чтобы сделать возникновение философов независимым от глупости отцов. Так вот, дело выглядит чуть ли не так, будто Платон и впрямь чего-то добился. Ведь современное государство нынче причисляет содействие философии к *своим* задачам и постоянно пытается осчастливить некоторое количество людей тою «свободой», под которой мы понимаем важнейшее условие возникновения философа. С Платоном же в ходе истории случилось странное злосчастье: как только возникало образование, в существенных чертах соответствовавшее его рекомендациям, при ближайшем рассмотрении оно всегда оказывалось подкинутым ребенком гнома, безобразным отродьем – каким, скажем, была средневековая теократия в сравнении с владычеством «сыновей богов», о котором ему мечталось. Современное же государство, правда, как небо от земли далеко от того, чтобы вручать владычество именно философам – и слава Богу, добавит любой христианин, – но даже упомянутое содействие государства философии, как оно его понимает, видимо, предполагает, что оно понимает это содействие *платонически*, то есть настолько серьезно и откровенно, будто его окончательный замысел – производство новых платонов. Если философ, как правило, появляется в своей эпохе случайно, то неужто государство нынче и впрямь ставит перед собой задачу сознательно превратить эту случайность в необходимость, подправив природу и тут?

Опыт, увы, вразумляет нас – или разочаровывает: он говорит о том, что ничто не мешает возникновению и росту воздействия прирожденных великих философов так, как плохие философы, полученные в государственном порядке. Предмет, вызывающий неловкость, не так ли? – и,

как известно, тот самый, на который Шопенгауэр первым делом обратил внимание в своей знаменитой статье об университетской философии. Я возвращаюсь к этому предмету: ведь надо заставить людей отнестись к нему серьезно, иными словами, побудить их с его помощью к делу, и считаю бесполезным всякое написанное слово, если за ним не стоит такого рода побуждение к делу; да и в любом случае не лишне еще раз, и притом в прямом применении к нашим ближайшим современникам, привести раз и навсегда действительные положения Шопенгауэра, поскольку люди добродушные могут, пожалуй, подумать, что с тех пор, как он выдвинул свои тяжкие обвинения, в Германии все изменилось к лучшему. Его дело еще не доведено до конца даже в этом пункте, каким бы незначительным он ни был.

Если приглядеться, та «свобода», которой государство в наши дни, как я уже говорил, благодетельствует некоторых людей, чтобы содействовать философии, – это уже вообще не свобода, а служба, дающая человеку хлеб. Значит, содействие философии заключается в том, что сегодня благодаря государству по меньшей мере какое-то количество людей получает возможность *жить* своей философией, поскольку они могут сделать ее источником заработка: в то время как древних мудрецов Греции государство не финансировало, а самое большее – однажды, как это было с Зеноном, почитало золотым венком да надгробным памятником в Керамике. Служат ли люди истине, показывая путь, каким можно на ней зарабатывать, я в обобщенном виде сказать не смогу, потому что здесь все зависит от характера и добротности отдельного человека, которому предлагают этим путем идти. Я прекрасно могу представить себе ту степень гордости и самоуважения, при которой человек говорит своим ближним: «Вы уж обо мне позаботьтесь, ибо у меня есть дело поважнее, чем у вас, – а именно, заботиться о вас». Подобное величие духа и его выражения не показалось бы странным у Платона и Шопенгауэра; по этой-то причине как раз они и могли бы быть даже университетскими философами, как Платон одно время был придворным философом, – не унижая достоинства философии. Но уже Кант был таким, какими обыкновенно бываем мы, ученые, – предупредительным, подобострастным и лишенным

чувства собственного достоинства в своих сношениях с государством: так что он в любом случае не мог бы послужить оправданием университетской философии, если бы та подверглась обвинениям. А если и есть натуры, способные быть для нее оправданием – как раз такие, как Шопенгауэр и Платон, – то я опасаясь лишь одного: им никогда не представится для этого случай, потому что ни одно государство не рискнет благодетельствовать таким людям, давая им соответствующие должности. Но почему же? Потому что любое государство их боится и всегда будет благодетельствовать только таким философам, которых оно не боится. А ведь бывает и так, что государство боится философии вообще, и как раз когда это происходит, оно тем более будет стараться привлекать к себе философов, которые придадут ему такой вид, будто философия на его стороне, – ведь на его стороне люди, носящие ее, этой стороны, имя, но вовсе не такие уж и страшные. Однако если появится человек, и впрямь делающий такую мину, с какой нож истины вонзают во все, в том числе и в государство, то государство, в первую очередь поддерживающее свое существование, вправе зачеркнуть такого человека и обращаться с ним как со своим врагом; точно так же и он зачеркивает ту религию и обращается с нею как с врагом, которая ставит себя выше него и хочет быть судьей над ним. Значит, если кому-то по нраву быть философом в государственном порядке, то ему должно быть по нраву и то, что он будет выглядеть так, будто отказался следовать за истиной во все закоулки. По крайней мере, покуда он облагодетельствован и состоит при должности, ему придется признавать, что есть нечто более высокое, чем истина, – государство. Да не просто государство, но заодно и все, чего государство требует для своего благополучия: это, к примеру, какая-нибудь определенная форма религии, общественного устройства, общеустановленного устава – на всех подобных вещах стоит надпись *noni me tangere*¹. Уяснил ли себе когда-либо кто-то из университетских философов весь объем своих обязательств и своей ограниченности? Этого я не знаю; если кто-то это и сделал, но все равно остается государственным служащим, то в любом

1 Не тронь меня (*лат.*) – Ин. 20, 17.

случае он – плохой друг истины; а если он этого не делал – что ж, надо думать, тогда он тоже – вовсе не друг истины.

Я высказал тут самые общие сомнения: однако для людей, каковы те сейчас, эти сомнения сами по себе будут, конечно, чрезвычайно слабыми и безразличными. Большинство довольствуется пожатием плеч и словами: «Уж будто бы все великое и чистое на этой земле когда-нибудь могло выдержать и удержаться, не делая уступок человеческой подлости! Вы что же, предпочитаете, чтобы государство преследовало философов, а не содержало их и не брало себе на службу?» Не отвечая на этот последний вопрос прямо сейчас, я только добавлю, что эти уступки государству со стороны философии заходят сегодня уж очень далеко. Во-первых, государство отбирает для себя философских служителей, причем столько, сколько ему нужно для своих учреждений; стало быть, оно делает вид, будто умеет различать хороших философов и плохих, более того, оно заранее предполагает, что всегда должно быть достаточно *хороших*, чтобы укомплектовать ими все свои кафедры. Теперь оно авторитарно решает вопрос не только о том, кто хорош, но и о необходимом количестве этих хороших. Во-вторых, тех, кого оно для себя отобрало, государство принуждает оставаться в определенном месте, среди определенных людей, и заниматься определенной деятельностью; они должны обучать любого академического юношу, который этого пожелает, и притом ежедневно, в твердо установленные часы. Вопрос: да может ли, в самом деле, философ с чистой совестью обязаться ежедневно иметь дело с тем, чему учит? И учить этому в присутствии всякого, кто захочет слушать? Не придется ли ему делать вид, будто он знает больше, чем знает? Не придется ли ему говорить перед незнакомой аудиторией о вещах, о которых без опаски он осмеливается говорить лишь с ближайшими друзьями? И вообще: обязавшись публично мыслить о predetermined по определенным часам, не лишит ли он себя своей великолепной свободы следовать за своим гением, когда тот позовет и куда тот позовет,² Да к тому же перед юнцами! Не будет ли такого рода мышление как бы заранее оскопленным? А если он и вовсе в один прекрасный день скажет себе так: «Сегодня я мыслить не могу, мне в голову не приходит ничего

толкового» – а все равно обязан стать за кафедру и делать вид, что мыслит?

Но – возразят мне – ведь он и не должен быть мыслителем, а самое большее должен воспроизводить чужое мышление и судить о нем, а прежде всего быть ученым знатоком всех живших раньше мыслителей; о них-то он и должен всегда уметь рассказать своим ученикам то, чего те не знают. – Как раз это и есть третья, наиболее опасная уступка философии государству: она обязуется перед ним выступать в первую очередь и главным образом как ученость. И прежде всего – как знание истории философии; а ведь для гения, который, подобно поэту, глядит на вещи чисто и с любовью и никогда не может накупаться в их глубине вдоволь, копание в бесчисленных, чуждых и превратных мнениях – занятие в целом преотвратительное и крайне неприятное. Ученая история прошлого никогда не была занятием истинных философов, ни в Индии, ни в Греции; и профессор философии, если он занимается такого рода работой, должен смириться с тем, что о нем скажут в лучшем случае: он дельный филолог, знаток старинных книг, языковед, историк, но не скажут: он философ. Да и это, как сказано, лишь в лучшем случае: ведь, читая большинство ученых работ, которые пишут университетские философы, филолог испытывает чувство, что сделаны они плохо, без научной строгости и по большей части до отвращения скучно. Кто избавит, к примеру, историю греческой философии от усыпительного тумана, который нагнали на нее ученые, но не слишком-то научные и, увы, слишком уж скучные работы Риттера, Брандиса и Целлера? Я, по крайней мере, с большею охотой читаю Диогена Лаэртция, чем Целлера, потому что в первом хотя бы жив дух древних философов, а во втором нет ни этого духа, ни какого-нибудь другого. И наконец, ради всего святого: что толку нашим юношам от истории философии? Должна ли путаница мнений обескуражить их настолько, чтобы самим иметь мнения? Должны ли они быть приучены с ликованием подпевать, в чем мы так отлично и преуспели? Или они должны научиться и вовсе ненавидеть или презирать философию? Так и кажется, что верно это последнее, если знаешь, какие пытки должны претерпеть студенты, готовясь к экзаменам по философии, чтобы

запахнуть в свой бедный мозг самые безумные и самые хитроумные находки человеческого духа наряду с самыми великими и труднодоступными. В университетах не обучают тому единственному роду критики в адрес той или иной философии, который возможен и даже кое-что доказывает, а именно попытку жить согласно этой философии: там всегда учат критике слов с помощью слов. И вот представим себе юную голову, снабженную небольшим жизненным опытом, в которой хранится пятьдесят систем в виде слов и пятьдесят их критических разборов, и все вперемешку, – ну что это за пустыня, что за дикие места, какое глумление над воспитанием для философии! На самом деле никто и не спорит, что воспитывают тут вовсе не для нее, а для экзамена по философии: его результат, как известно и как обычно, заключается в том, что сдавший экзамен, проэкзаменованный вдоль и поперек, с тяжким вздохом говорит себе: «Какое счастье, что я не философ, а христианин и гражданин своего государства!»

А что, если этот тяжкий вздох как раз и был на уме у государства, а «воспитание для философии» – лишь способом отвлечь от философии? Стоит задаться этим вопросом. – Но если дело и впрямь обстоит именно так, то бояться нужно лишь одного: что однажды, наконец, молодежь догадается, с какой целью тут, собственно, злоупотребляют философией. Неужели самая высокая цель, возникновение философского гения, – не более чем предлог? А подлинная цель, может быть, – как раз воспрепятствовать его возникновению? Обратить весь смысл дела в его противоположность? Ну, тогда берегись, весь комплекс государственного и профессорского хитроумия! –

А может быть, что-то в этом роде уже известно? Этого я не знаю; но как бы там ни было, университетская философия подверглась всеобщему неуважению и сомнению. Отчасти оно связано с тем, что нынче на кафедрах заправляет немощный род людей; и Шопенгауэру, если бы ему понадобилось написать свою статью об университетской философии сейчас, для победы нужна была бы не дубина, а камышовая тростинка. Это наследники и потомки тех горе-мыслителей, которых он бил по их вконец извращенным головам: они отличаются младенческой глупостью и кар-

ликовостью достаточно, чтобы направить память к индийскому изречению: «По поступкам своим люди рождаются – глупыми, немými, глухими, безобразными». Отцы заслужили такое потомство по своим «поступкам», как гласит изречение. Поэтому не подлежит никакому сомнению, что академические юноши очень скоро начнут обходиться на худой конец и без философии, которой учат в их университетах, и что люди неакадемические обходятся без нее уже сейчас. Достаточно вспомнить о собственных студенческих годах; лично для меня, к примеру, академические философы были людьми совершенно безучастными и казались мне такими, которые нахватили всякой всячины из результатов других наук, в свободное время читали газеты и ходили на концерты, а вообще-то даже их академические товарищи обращались с ними, вежливо скрывая свое пренебрежительное отношение. Их считали мало осведомленными и не стесняющимися прибегать к темным выражениям, чтобы прикрыть ими нехватку знаний. Поэтому они предпочитали оставаться в таких сумеречных местах, где человек с ясным взглядом долго не выдерживает. Один сомневался в естественных науках: ни одна из них, мол, не может объяснить мне до конца простейшего процесса, так что мне толку от них от всех? Другой сказал об истории так: «У кого есть идеи, тому она не даст ничего нового» – короче говоря, они всегда находят причины, почему «философичнее» ничего не знать, чем чему-то учиться. А уж если они пускались в учебу, то их тайным мотивом при этом было уклониться от наук и где-нибудь в их прорехах и неизученных местах основать темную область. Поэтому они шли впереди наук разве только в *том* смысле, в каком добыча предшествует охотникам, которые у нее на хвосте. С недавних пор они довольствуются утверждением, что они, собственно, лишь пограничники и надзиратели наук; в этом деле особенно полезным для них оказывается кантовское учение, из которого они стараются сделать какой-то ничего не значащий скептицизм, вскоре никого уже больше не интересующий. Лишь там и сям кто-то из них решается на какую-нибудь мелкую метафизику – с обычными последствиями в виде кружений и боли в голове да кровотечений из носу. Они уже много раз терпели неудачу в своем походе в

туманы и облака, а какой-нибудь грубый и упрямый адепт точных наук то и дело хватал их за шиворот и спускал на землю, и теперь их лицо принимает привычное выражение человека особо ранимого и наказанного за ложь. Они совершенно утратили радостную уверенность в себе, и потому в жизни никто из них не сделает ни шагу в угоду своей философии. Прежде кое-кто из них думал, будто сможет изобрести новые религии или заменить своими системами старые; нынче такая спесь у них поослабла, они люди чаще всего благочестивые, нерешительные и bestолковые, отнюдь не храбрые, как Лукреций, не впадающие в ярость из-за бремени, наложенного на людей. У них уже нельзя научиться даже логическому мышлению, и они, естественным образом оценивая свои силы, прекратили вообще-то обычные упражнения в искусстве спора. Нынче, вне всякого сомнения, те, что на стороне отдельных наук, мыслят логичнее, осмотрительнее, экономнее, изобретательнее, – короче говоря, там все идет философичнее, чем у так называемых философов: и всякий согласится с неподвзятым англичанином Бэджетом, когда тот говорит о теперешних системотворцах следующее: «Кто чуть ли не заранее убежден, что их исходные посылки содержат странную смесь истины и заблуждения, а потому не стоит усилий задумываться над их выводами? Возможно, молодежь привлекает готовая законченность этих систем, которая впечатляет людей неопытных, но люди вполне сложившиеся на этот счет не обманываются. Они всегда готовы благосклонно принять намеки и предположения и приветствуют самую незначительную истину – но толстый том дедуктивной философии вызывает только раздражение. Бесчисленные и бездоказательные абстрактные принципы с энтузиазмом собраны людьми сангвинического склада и тщательно разработаны вширь в книгах и теориях в попытке объяснить ими целый мир. Но миру нет дела до этих абстракций, и нисколько не удивительно, что они противоречат друг другу». Если прежде философы, и особенно в Германии, настолько глубоко погружались в раздумья, что им постоянно грозила опасность стукнуться головой о первую попавшуюся притолоку, то теперь за ними, как за лапутянами у Свифта, ходит целый рой хлопальщиков, чтобы в нужный мо-

мент слегка хлопнуть их по глазам или еще по каким местам. Если порою эти хлопки чересчур сильны, то наши лунатики забываются и стучаются снова, и всегда дело кончается к их посрамлению. Ты что, не видишь притолоки, фантазер? – говорит тогда хлопальщик, и философ нередко все-таки замечает притолоку и успокаивается. Эти хлопальщики – естественные науки и история; мало-помалу они до того запугали немецкие мечтательно-мыслительные трактиры, которые так долго путали с философией, что трактирщикам мысли сильно захотелось бросить попытки ходить самостоятельно; а когда они внезапно попадают к тем в объятия или норовят прицепить к ним ленточку от помочей, чтобы водить себя на помочах самим, то те тотчас хлопают их так устрашающе, как только могут, будто хотят сказать тем самым: «Не хватало еще, чтобы какой-то трактирщик мысли осквернял нам естественные науки или историю! Вон отсюда!» Тут они, к своему смущению и растерянности, отшатываются снова: они во что бы то ни стало хотят получить в свои руки немножечко естествознания, скажем, эмпирической психологии, как гербартианцы, и во что бы то ни стало немножечко истории, – тогда, по крайней мере, они могут на публике делать вид, будто позанимались наукой, хотя в глубине души шлют всю философию и всю науку к чертям.

Но согласимся, что этот рой плохих философов смехотворен – а кто же с этим не согласится? – в какой же степени они тогда еще и *вредны*? Короткий ответ гласит: в той, в какой они делают философию смехотворным занятием. Покуда существует признанное государством горе-мыслительство, всякое масштабное воздействие подлинной философии вообще останется втуне или по крайней мере будет тормозиться, и притом ничем иным, как проклятьем смехотворности, которое снискали себе представители названного великого дела, но которое затрагивает и само это дело. Поэтому я объявляю требованием культуры лишить философию какого бы то ни было государственного и академического признания и вообще отстранить государство и академическую науку от решения невыполнимой для них задачи по установлению различий между подлинной и мнимой философией. Нет, дайте философам расти свободно,

откажите им во всех перспективах на должность и включение в гражданские виды профессий, не подзуживайте их больше жалованьем, даже более того: гоните их, относитесь к ним без всякой жалости – и вы увидите диковинные дела! Тогда они разбегутся в разные стороны искать себе крышу над головой там и сям, эти несчастные воображали; тут откроется новый приход, там школа, этот забьется в редакцию какой-нибудь газеты, другой станет писать учебники для школы благородных девиц, самый разумный из них возьмется за плуг, а самый тщеславный устроится при дворе. Внезапно окажется, что никого не видно, логово опустело: ведь от плохих философов избавиться легко – достаточно только прекратить благодетельствовать им. И уж во всяком случае это куда более целесообразно, чем публично, в государственном порядке, покровительствовать какой угодно философии.

Государство всегда интересуется не истиной, а только полезной для него истиной, а еще точнее, вообще всем, что для него полезно, будь то истина, полуистина или заблуждение. Значит, союз государства и философии имеет смысл, лишь если философия может пообещать государству свою безусловную полезность, иными словами, лишь если она будет ставить государственную пользу выше истины. Конечно, с точки зрения государства было бы великолепно иметь у себя на службе и на содержании и истину тоже; но оно и само прекрасно понимает, что в *природе* истины – никому не служить и ни у кого не быть на содержании. Следовательно, все, что у него есть, – лишь фальшивая «истина», персонаж под личиной: но она, увы, не может сделать для него того, чего то так сильно жаждет от подлинной истины, а именно санкции и канонизации своего существования. Когда средневековый суверен хотел, чтобы его короновал Папа, но не мог от него этого добиться, он просто назначал антипапу, и уж тот оказывал ему эту услугу. Тогда это до известной степени могло срабатывать; но это не срабатывает, когда современное государство назначает какую-нибудь антифилософию, от которой ждет своей легитимации; ведь философия по-прежнему против него, причем теперь больше, чем когда-либо. Я действительно думаю, что ему полезнее вообще не заниматься ею, вообще ничего

от нее не ожидать и, покуда это возможно, не обращать на нее внимания как на нечто безразличное к нему. А если дело не ограничится этим безразличием, если она станет угрожать ему, нападать на него, то пусть оно ее преследует. – Поскольку государство не может иметь большего интереса к университету, чем воспитание в нем преданных и полезных граждан, то оно должно опасаться, как бы не поставить под вопрос эту преданность и полезность, требуя от молодых людей экзамена по философии: правда, что касается ленивых и неспособных, то верный способ вообще оттолкнуть их от ее изучения – сделать из нее грозный призрак экзамена; но эта выгода не в состоянии уравновесить того ущерба, который те же самые принудительные занятия наносят отчаянным и мятущимся юношам; они знакомятся с запрещенными книгами, принимаются критиковать своих учителей, а в конце концов так и вовсе замечают смысл университетской философии и экзаменов – не говоря уж о сомнениях, которые могут по этому поводу охватить юных богословов и по причине которых они начинают вымирать в Германии, как каменные козлы в Тироле. – Я хорошо понимаю, как государство могло возражать на все это рассуждение, покуда на всех полях еще росла прекрасная зеленая гегелевщина: но после того как этот урожай был побит градом, а из всех надежд, возлагавшихся тогда на него, не сбылась ни одна и все закрома остались пустыми, – оно предпочитает уже ничем не возражать, а просто отворачиваться от философии. Теперь есть власть, а тогда, во времена Гегеля, к ней стремились – в этом огромное различие. Государство больше не нуждается в санкции со стороны философии, которая поэтому стала для него излишней. Если оно больше не содержит своих профессоров или, по моим представлениям о ближайшем будущем, станет содержать их лишь для вида и вяло, то для него это полезно, – но важнее, сдается мне, что и университеты видят тут для себя выгоду. По крайней мере, меня так и подмывает думать, что очаги подлинной науки, вероятно, увидят содействие себе в избавлении от компании полунауки и четвертьнауки. Притом дело с хорошей репутацией университетов обстоит слишком странно, чтобы не желать принципиального исключения дисциплин, мало уважаемых самими же академиками.

Ведь у неакадемиков есть веские основания в известной степени презирать университеты в общем и целом; они упрекают их за то, что те трусливы, что малые боятся больших, а большие – общественного мнения; что во всех вопросах высшей культуры они не идут впереди, а медленно и запоздало хромают сзади; что уже совсем не соблюдается основная линия авторитетных наук. Говорят, к примеру, что языками там занимаются более усердно, чем когда-либо прежде, но не считают необходимой для себя самих строгую дисциплину письма и речи. Индийская древность открывает свои ворота, а ее знатоки имеют такое же отношение к наиболее нетленным из творений индусов, к их философским системам, какое животное имеет к лире: несмотря на это, Шопенгауэр считал знакомство с индийской философией одним из величайших преимуществ нашего столетия перед другими. Классическая древность стала древностью по выбору и больше не играет роли классической и образцовой; доказательством этого служат ее адепты, ведь на самом деле они вовсе не являются людьми образцовыми. Куда отлетел дух Фридриха Августа Вольфа, о котором Франц Пассов счел возможным сказать, что он явился как подлинно патриотический, подлинно гуманный дух, что у него хватило бы сил повергнуть в брожение и пламя целый континент? Зато в университеты все больше проникает дух журналистов, и нередко под именем философии; гладкое, цветастое изложение, отсылки к «Фаусту» и «Натану мудрому», язык и воззрения наших тошнотворных литературных газет, с недавних пор еще и болтовня о нашей священной немецкой музыке, даже требование дать кафедры Шиллеру и Гёте – подобные признаки говорят о том, что университетский дух начинает подменяться духом эпохи. В этом отношении мне кажется делом величайшей важности, если вне университетов возникнет какой-то высший трибунал, проверяющий и направляющий и эти учреждения на предмет образования, которое они дают; и как только философия будет исключена из университетов, а тем самым очистится от всех недостойных попыток приладиться, от всех уловок, она не сможет быть ничем иным, как только таким трибуналом: без поддержки государственной власти, без жалованья и почестей, она будет справляться со своим служением.

ем, свободная от духа времени, равно как и от страха перед этим духом, – короче говоря, так, как жил Шопенгауэр, выходящая суждеей над окружавшей его так называемой культурой. Вот таким-то образом философ сможет использовать и университет, не связывая себя с ним, а, напротив, окидывая его взглядом с некоторой полной достоинства дистанции.

И напоследок – какое нам дело до существования государства, содействия университетам, если речь-то идет прежде всего о существовании философии на свете! Или, дабы не оставлять никаких сомнений по поводу того, что я имею в виду, – если настолько невероятно более важно, чтобы на свете появился философ, чем продолжило свое существование государство или университет. Достоинство философии может повышаться в той мере, в какой возрастает раболепие перед общественным мнением и угроза свободе; это достоинство было на своей высшей точке при потрясениях гибнущей Римской республики и в эпоху императоров, когда ее и истории именами стали *ingrata principibus nomina*¹. Брут значил для ее достоинства больше, чем Платон; это времена, когда в этике не оставалось общих мест. Если нынче философию не слишком-то уважают, то достаточно задаться вопросом о том, почему в наши дни ни один крупный полководец и государственный деятель не хочет иметь с ней ничего общего, – только потому, что в те времена, когда он испытывал к ней интерес, под именем философии ему попадался какой-то тщедушный фантом, ученая мудрость и осторожность, провозглашаемая с кафедры, короче говоря, потому что философия вовремя сделалась в его глазах делом смехотворным. А должна она была стать в его глазах делом, внушающим ужас; ведь люди, призванные искать власти, должны знать, какой источник героизма из нее проистекает. Один американец любил говорить им, что великий мыслитель, появляющийся на этой земле, должен играть роль нового центра чудовищной силы. «Держитесь настороже, – говорит Эмерсон, – когда Бог посылает на нашу планету мыслителя. Тогда всему грозит опасность. Это похоже на пожар в большом городе, когда никто не знает, куда бежать и когда все кончится. Тогда в

1 безразличные (к ней) имена вождей (лат.).

науке не остается ничего, что не могло бы назавтра претерпеть полный переворот, тогда в литературе нет больше авторитетов, нет и так называемой непреходящей славы; все вещи, которые до той поры были дороги и ценны для человека, таковы лишь за счет идей, взошедших на его духовном горизонте и служащих причиной нынешнего порядка вещей точно так же, как яблоня служит причиной своих яблок. *Новая ступень культуры мгновенно перевернула бы всю систему человеческих чаяний.*» И если такие мыслители опасны, то, конечно, понятно, почему не опасны наши академические мыслители; ведь их мысли так мирно произрастали на почве всего традиционного, как только яблоки росли на своей яблоне: они не ужасают, они не переворачивают все вверх дном; а обо всех их помыслах и чаяниях можно сказать то, что возразил Диоген, когда при нем похвалили какого-то философа: «Да разве он сделал что-то великое, если так давно занимается философией, а еще никого не *разозлил?*» Вот и на надгробном камне университетской философии должно значиться: «Она никого не разозлила». Только это, конечно, – больше похвала старой женщине, чем богине истины, и нет ничего удивительного, если те, которым эта богиня известна лишь как старая женщина, сами-то очень мало похожи на мужчин, а потому по справедливости уже не пользуются ровно никаким вниманием со стороны стоящих у власти мужчин.

Если в наше время дела обстоят таким образом, то достоинство философии повергнуто в прах: кажется, будто она сама сделалась чем-то смехотворным или неинтересным, а потому все подлинные ее друзья обязаны дать показания против такой подмены и по меньшей мере засвидетельствовать, что смешны и неинтересны только ложные служители и недостойные представители философии. А еще того лучше, чтобы они на деле доказали: любовь к истине – нечто внушающее ужас и могущественное.

То и другое доказал Шопенгауэр – и с каждым днем будет доказывать это все больше.